

**АВТОБИОГРАФИЯ М.Г. ПОПОВА,
БОТАНИКА, ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА И ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Я родился на берегу Волги, в г. Вольске Саратовской губернии (ныне области), на реченке Мальковке, под яблонями небольшого собственного сада – по крайней мере так рассказывали мне позднее мои родственники, которые присутствовали при моем рождении, я сам тогда был слишком мал, чтобы помнить подробности... Годом моего рождения был 1893-й (18-го, по-старому стилю 5-го апреля).

Мои личные воспоминания начинаются уже тогда, когда моего отца, Григория Михайловича Попова, не было в живых – он умер, говорят, в 1895 году, и моя память не сохранила о нем ничего: ни образа его, ни звука его голоса, так что я был как бы с самого рождения без отца, что очень печально, ибо великое благо дня ребенка иметь хотя бы плохого отца, а мой отец, возможно, и не был плохим отцом, хотя, как говорили родные, он очень пил, а поэтому имел дурную не христианскую смерть.

Моя мать, Ольга Петровна, урожденная Дмитриева, в то время, когда моя память уже стала фиксировать события, жила, в городе Вольске, на городской квартире, вместе со мной, и была учительницей в местной жен-

ской гимназии. Вероятно, что тогда мне было 3 или 4 года от роду. Хорошо помню, что жили мы в угловом каменном доме, на втором этаже. Я уже катался зимой на ледянке, а к нам в квартиру приходил красивый и изящный мужчина, который и стал вторым мужем моей матери, а моим отчимом.

Очевидно, что я сильно мешал новому семейному быту и потому был отправлен на жительство к своей тетке, с которой и начал кочевую жизнь по губернии – мы жили в Сызрани, потом в деревне или селе Павловке¹, кажется, Хвалынского уезда, а потом я как-то снова попал к матери и отчиму, сперва в Аткарск, где был чудный городской сад, который меня очаровал, а затем в село Турка² Балашовского уезда, где мой отчим был начальником станции; здесь я прожил года два или три, в деревенской обстановке, среди цветов и полей, на берегу чудесной реки Хопра, который тогда был еще очень лесист по левому берегу и многоводен, обилён рыбой, раками и охотничьей птицей.

Именно здесь, в Турках, я впервые познал природу, ее красоты и радости – прелесть вечерней зари, когда на зеркальную гладь реки

Примечание редактора. О том, как автобиография М.Г. Попова появилась в редакции журнала написано в послесловии, составленном В.М. Остапко и С.В. Саксоновым. В нашем распоряжении оказался машинописный вариант, с правками и техническими опечатками. Тем не менее, мы исправили лишь очевидные опечатки, сохранив пунктуацию и орфографию в первоначальном виде. Корректурa рукописи выполнена н.с. лаборатории проблем фиторазнообразия Института экологии Волжского бассейна РАН Л.В. Сидякиной. Большую помощь в подготовке рукописи к печати оказали директор Института генофонда растительного и животного мира АН Республики Узбекистан докт. биол. наук, проф. К.Ш. Тожибаев, м.н.с. того же института У. Кодиров и О. Тургинов, студент Национального университета Узбекистана Р. Гуламов и с.н.с. Института Н.Ю. Бешко, любезно согласившиеся отсканировать статью Е.П. Коровина из раритетного выпуска Трудов Среднеазиатского университета.

© 2017 Попов М.Г.

© 2017 Остапко В.М., Саксонов С.В. (послел.)

Поступила в редакцию 01.12.2015

¹ В настоящее время пгт, административный центр Павловского района Ульяновской области. Здесь и далее – примечания С.А. Сенатора

² Турки – в настоящее время рабочий поселок, административный центр Турковского района Саратовской области. Годы, проведенные М.Г. Поповым, приходятся на расцвет поселка – только что построили железную дорогу, открыли библиотеку, построили мельницу, население вдвое превышало современное и составляло более 10000 чел.

спускаются, покрякивая, дикие утки; очарование раннего утра, когда из-под покрова белого тумана, в радостных ярких и теплых лучах восходящего солнца появляются голубые, как небо поля цветущего льна; ослепительную красоту розового шиповника, когда после грозового ливня он блестит в лучах солнца тысячами сверкающих, как алмазы, капель воды и источает горько-сладкий аромат своих цветов.

Здесь, в Турках, я узнал трепет страстного охотника, который не может сдержать дрожи при виде селезня, летящего прямо на него, упоение рыболова, видящего как поплавок его удочки сразу и глубоко уходит в воду. Здесь я выучился плавать и стрелять из ружья, ловить рыбу сетями и удочкой, ездить верхом и запрягать лошадь в телегу – я был так мал ростом, что, помню, приходилось ставить скамейку перед мордой лошади, чтобы проехать уздечку в колечко дуги.

Балашовский уезд был тогда настоящей обетованной страной земледельца: еще неистощенные черноземы давали большие урожаи; весь район Турков был завален хлебом, крупой, мукой, всюду скрипели ветряные и паровые мельницы, миллионы домашней птицы и свиней выкармливались на дешевом, почти даровом зерне и хлебе. Особенным же почетом пользовались лошади, и всякий старался приобрести себе какую-нибудь выдающуюся: или иноходца-киргиза или рысака, и на масленице начиналось настоящее соревнование разукрашенных на дугах лентами, запряженных в легкие санки, тысяч самых разнообразных лошадей. На меня, мальчика 8-9 лет, эти конские состязания производили неизгладимое впечатление, возбуждающее... Я могу прослыть отсталым за свои слова, но все же я скажу по совести, что эти скакуны, запряженные в изящные маленькие санки, вспотевшие от быстрого бега или даже взмыленные, с развевающимися гривами и сверкающими глазами, осаживаемые сильной ру-

кой правящего, были много красивее, чем наши воющие и вонючие, безобразной формы, подпрыгивающие на своих нелепых толстых колесах, лишенные жизни и грации движений, стандартные автомобили.

Там была индивидуальность во всем – в масти и экстерьере каждой лошади, в ее беге, поведении; в санках, в которые она была запряжена; в сбруе, в каждой детали ее снаряжения – у одной ременные черные вожжи, у другой вожжи наполовину матерчатые – красные или зеленоватые, дуга, то из круглого дерева, тонкая изящная, то плоская и широкая; одни с колокольчиками, другие с бубенцами или с разукрашенной цветными пуговицами шлеей; каждая деталь интересовала и радовала, приковывала внимание зрителей.

В тех же Турках я реально познакомился с фруктовыми садами; их было там не то чтобы много, но все же порядочно и, помню, в них выращивались, как мне тогда казалось, несравненные по вкусу груши и сливы; о яблоках и вишне уже не приходилось и говорить – они были в изобилии. Очевидно, с той поры, а может быть еще с рождения, глубоко, в самой сердцевине моего существа укоренилась любовь и привязанность к плодовым садам, к садоводству. В душе всякого человека живет любовь к саду, цветущая яблоня или вишня на всех производит трогательное и нежное впечатление, но у меня эти чувства всегда, с детства сочетались с различием сортов и с любовью к технике садоводства; очевидно, по своей индивидуальности, я был прирожденным систематиком, ибо меня не просто интересовала яблоня как яблоня вообще, а с самого детства я различал сорта – красный душистый анис, чудно-сладкое «черное дерево», нежную «бель» и жесткую лилово-красную «чугунку», яблоня всегда была для меня определенным сортом, а не просто яблоней.

В Турках я прожил до своего поступления в школу, в Вольское реальное училище³, когда

³ В настоящее время Школа № 16 г. Вольска. По свидетельству современников, Вольское реальное училище давало серьезные знания, которые служили основой для дальнейшего образования в технических институтах (*Райт А. Обучение детей поволжских колонистов и где учились дети Райт*) [Электронный ресурс]. URL: <http://wolgadeutsche.net/fotos/raith/Ausbildung.pdf> (дата обращения 30.03.2017)). В разное время это учи-

мне пришлось покинуть привольную жизнь в деревне и переехать в город, на жизнь к тетке. Переход, помню, был очень чувствительным и жизнь в городе без садов, цветов, лошадей, рыбалки и охоты, со строгим режимом жизни и работы, казалась мне очень унылой, безрадостной. Училище мне казалось почти тюрьмой. Я его не любил, а начальства боялся; только пассивное подчинение авторитету, не очень, впрочем, большому, родные, вернее боязнь одинокого и замкнутого в себя ребенка, принуждали меня к учению и пребыванию в городе. Но уже в течение всей своей жизни я сохранил неприязнь к городской жизни, которая и сейчас мне кажется пустой, не радостной, лишенной красок и счастья.

Учился я посредственно, опять-таки скорее по пассивному повиновению, и хотя я любил читать, но чтение моим были преимущественно Фенимор Купер, Майн-Рид и в меньшей мере мне нравился Жюль Верн. В Фениморе Купере и Майн-Риде меня интересовала главным образом приключенческая сторона – картины охоты, стычки с индейцами, меткие выстрелы Следопыта – морально-го элемента, например в личности Следопыта, я совсем тогда не улавливал, равно как оставалась для меня непонятной проповедь личной энергии, предприимчивость в произведениях Киплинга. Одним из самых больших общественных переживаний того периода была для меня несчастная русско-японская война 1904-1905 годов. Мне было тогда 11 лет. Никакого общественного воспитания, да и вообще никакого воспитания, от своей матери, слишком занятой личной жизнью с новым мужем, я не получал, а тетка была строга и меня не любила из-за отца, которого она называла при мне вслух мещанином, мужиком и пьяницей; я тоже ее не любил и подчинялся

ей пассивно, с скрытой или даже не всегда скрытой неприязнью. При таких условиях уже не знаю какими путями – очевидно, все же через разговоры старших, предназначенные не для меня, а также через чтение журналов «Нива» и «Родина», в мою душу, незаметно, непостижимо, можно сказать тайком или как говорят, с молоком матери, вошел патриотизм. Помню, с какой любовью и восхищением смотрел я в журналах на фотографии наших крейсеров и броненосцев – особенно восхищал меня крейсер «Новик» с его изумительным ходом и осанкой; помню далее тяжелое впечатление произведенное гибелью «Варяга» в Чемульпо и совершенно исключительное по ужасу и нравственному удару ощущение от гибели «Петропавловска» и адмирала Макарова; помню и страшную фразу в связи с гибелью Макарова и спасением великого князя Кирилла – фраза, кажется, была сказана метко: «Золото всегда тонет, а говно всплывает». Конечно, я тогда не понимал общественного веса фраз, вроде приведенной, теперь же ясно, что в них был смертный приговор режиму. Мое окружение в семье отнюдь не было революционно, даже скорее под корою городской мелкобуржуазности, почти мещанства, оно было религиозно-православным и ортодоксальным, а потому подобный отзыв о человеке царской семьи по существу обозначал гибель этой семьи, ибо основная массовая опора ее в стране от нее отшатнулась в результате ее собственной распущенности и безумной политики, приведших к такой страшной неожиданной военной катастрофе. Я удивляюсь теперь только тому, почему я сам, мальчик 11 лет, столь сильно переживал эту несчастную для России войну, никто как будто не будил во мне особого чувства родины, патриотизма,

лице закончили *Семенов Н.Н.* (1896-1986) – академик АН СССР, лауреат Сталинской (дважды), Ленинской, Нобелевской премий, дважды Герой Социалистического Труда, основатель всемирно известной школы физической химии, *Б.Л. Токин* (1900-1984) – докт. биол. наук, лауреат Сталинской премии, заслуженный деятель науки РСФСР, Герой Социалистического Труда, Президент Ленинградского Общества испытателей природы, создатель учения о фитонцидах, *П.И. Бахметьев* (1860-1913) – лауреат премии Томпсона в области термоэлектричества и премии Бэра в области энтомологии, основатель физико-математического общества в Софии (Болгария), открыл явление анабиоза у млекопитающих (Весь Вольск. Вольское реальное училище – школа № 16 [Электронный ресурс]. <http://845-93.ru/index.php/istoriya/gorod-volsk/uchebnye-uchrezhdeniya/65-realnoe-uchilishhe-shkola-16> (дата обращения 30.03.2017)).

никто, конечно, не мог мне объяснить общественного и причинного смысла явлений, мое семейное окружение не было настолько культурным, чтобы заботиться о гражданском моем воспитании, но как видно, общественная атмосфера чрезвычайно легко проникает в сознание впечатлительного ребенка – а я был от природы очень впечатлителен, нервный – через случайные фразы, обрывки журнальных статей и т.п. Это нужно всегда иметь в виду воспитателям общества: душа ребенка чрезвычайно чувствительный инструмент – струна, начинающая звучать очень громко иногда при самом легком к ней прикосновении. Душа взрослого человека совсем иная – она в тысячу раз менее чувствительна. То же можно сказать и о памяти. Психический инструмент ребенка необычайно восприимчив; поэтому его особенно тщательно нужно оберегать от всего дурного, ибо он воспринимает бессознательно, а затем сохраняет на всю жизнь и хорошее и плохое.

Революцию 1905-1906 гг. я переживал уже относительно зрелом состоянии, я был тогда в 3-4 классах Реального училища. Посемейному, вообще взрослому окружению я жил тогда уже и не с теткой, а в чужой, но хорошей семье инспектора городского училища. По отсутствию общественного воспитания я не был слишком революционно настроен, общественных явлений я не понимал, никаких политических традиций мне никто не привил, а подсознательно я был сектантски, религиозен, ибо семья отца была в расколе со скитским благочестием а мать принадлежала к чиновничьему, ортодоксально-повинующемуся, но все же самостоятельно потихоньку мыслящему семейству. Однако, общественное революционное движение всего общества даже в нашем небольшом и довольно захолустном городишке, как-то, хотя и не очень глубоко, захватило и меня, не сделав, конечно, революционером, хотя я иногда и пел марсельезу или варшавянку, но придав моим мыслям и чувствам навсегда либеральный, если формулировать, политиче-

ски-кадетский оттенок. Мой старший брат принимал даже активное, хотя и небольшое участие в революционном движении учащихся города. Он был старше меня на 5 лет и я иногда слушал споры и речи его товарищей, смотрел как они издавали гектографический журнал, даже помогал им готовить гектограф⁴; мне очень нравился процесс гектографической печати, но сам я лично и по молодости и по общественной пассивности своей натуры, я всегда боялся людей и трудно сходился со сверстниками, не принимал участия в движении. В школе у нас воцарился более свободный режим, учителя даже как-то потоварищески с нами обращались, а так как среди них были хорошие педагоги, а один учитель русского языка и словесности, просто замечательный человек и учитель, сам же я в то время повзрослел и во мне проснулись умственные интересы, то дальнейшее пребывание в школе было для меня уже не тяжелым и ученье пошло хорошо: я кончил училище даже с отличием.

Не могу не сказать здесь несколько слов о двух моих педагогах. Виктор Иванович Никольский преподавал в младших классах русский язык, стало быть, грамматику, в старших словесность, т.е. литературу. Авторитет и уважение, соединенные с трогательной любовью которые он приобрел среди учеников, особенно старших классов, были изумительны, даже распущенные лодыри, циники и руготники, имевшиеся среди нас, почти обожали его, кажется даже больше чем мы, хорошие ученики и не на словах, а на деле, ибо учились у него и в некоторых случаях только у него, прекрасно, Никольский был низкий и довольно тучный человек, с красным апоплексическим лицом, на котором щеки образовали складки – он был уже пожилым с сединой в волосах, с длинноватой, жидкой и тощей, как говорят, козлиной бородкой, и с хохлацкими, отпущенными вниз усами, внешне вообще сильно напоминал Тараса Бульбу, но одет он был всегда очень тщательно, в темно-синий форменный сюртук, очень длинный, широкие

⁴ Тип копирующего аппарата для дешевого и быстрого тиражирования материалов невысокого качества.

брюки, на жилете виднелась, кажется, золотая цепочка от часов, которую он постоянно вертел между пальцами, когда говорил. Он покорила нас многими качествами. Уже самая внешность его производила впечатление какой-то фундаментальности, силы, хотя не была красивой: он был невысок, но крепко сложен и имел даже небольшое брюшко. Гораздо существеннее было его отношение к нам. Он никогда не шутил, не панибратствовал с нами, даже в максимум подъема революционного движения, когда школой управляли скорее ученики, а не учителя и в общем в ней был порядочный хаос. Он был всегда серьезен и строг, но строг именно там и тогда, когда и по нашему внутреннему чувству он должен был быть строг: при дурных поступках, дурных словах, невежливости ученика, или группы учеников. Он не раздражался, он всегда владел собой, и его голос был тверд и выразителен, когда он порицал провинившихся. Но он никогда не жаловался директору или инспектору, он очевидно – теперь ясно, считал себя настолько выше их и выше нас, что полагал недостойным для себя идти жаловаться на нас начальству, а почему-то во всех школах (по-видимому, всех стран учащиеся) больше всего не любят и презирают тех, кто жалуется или апеллирует к начальству. Никольский, очевидно, также любил учеников, молодежь, но никогда не выражал этого в словах, а только в делах – в образцовом преподавании и в нужной дисциплине. Самое же главное – он был замечательный, красноречивый и выразительный лектор: это было деловое, серьезное, первоклассное ораторство. Бывало так, что он расскажет какое-нибудь событие, имеющее отношение к литературе, весь класс в абсолютной тишине вшившись в него глазами, слушает, потом Никольский вызывает кого-нибудь, часто очень среднего ученика и зада-

ет ему повторить сказанное, Никольским. Так запечатлевалась его речь в нашем мозге. Речь его была столь красива, выразительна, педагогична, очищена от всего лишнего несущественного, что больше походила на скульптуру, полное смысла наглядное изображение, чем на словесную речь. Позднее я слушал самых прославленных профессоров, лекторов, ораторов по всей нашей огромной стране – Максима Ковалевского⁵ и Маклакова⁶, и академика Ферсмана⁷, которого называли Златоустым, но такого совершенного, классически совершенного лектора, каким был Никольский, я более не встречал. А он был лишь скромный учитель в уездном городе и притом горький пьяница. Почему он пил, человек столь высокой культуры, осталось для меня не совсем ясным, говорили, что он несчастлив в семейной жизни, болтали в городе, что его жена – я ее видел как-то, она мне показалась довольно некрасивой женщиной – была любовницей одного довольно молодого и пошловатого акцизного чиновника, мне тоже приходилось его видеть. Возможно, что это было именно так, а возможно и не так, мы тогда не особенно стремились проникать в подобные личные дела, да и не имели возможности этого делать. Оставался факт, что наш дорогой наставник, действительный учитель, пил и пил сильно, с годами все больше. Бывали случаи, что он засыпал на кафедре и трогательным образом класс тогда весь час, до звонка сидел молча, не вставая, без шалостей и криков, чтобы не привлечь внимания начальства и надзирателей, не подвести Никольского. Когда же началась реакция⁸, кажется в 1908 году, Никольский, по навету или доносу, как мы были убеждены, директора, тоже словесника и юриста, мало симпатичного, большого, грузного и, по-видимому, глуповатого человека, был смещен и сослан в

⁵ Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) – историк, юрист, социолог и общественный деятель, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук.

⁶ Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) – адвокат, политический деятель.

⁷ Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945) – вице-президент Академии наук СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премий, геохимик и минералог, один из основоположников геохимии.

⁸ Имеется в виду начало массовой студенческой борьбы в России 1908 г. и последующая за ним ликвидация автономии высших учебных заведений.

маленькое село, за Волгу, учителем 4-х классового училища. Горе наше, когда мы узнали об этом было очень велико, в летние каникулы старшие классы даже собирали деньги среди нас и посылали специальную делегацию для посещения Никольского на его новом местожительстве, чтобы выразить ему свое уважение и любовь. Никольский привил нам любовь к литературе, научил ее понимать, научил литературно писать, мне трудно сейчас оценить всю силу его влияния на нас, в частности на меня самого, помню только, что несомненно под его влиянием я начал любить писать и старался писать хорошо, выразительно, так, как он говорил – его речи были для нас образцом литературного стиля. Я был еще не так близок к нему, как некоторые другие мои соклассники – на тех его влияние было еще более сильным. Никольский был очевидно демократ, типа народника. Хорошо помню, как однажды в классе, говоря о народной поэзии, песне, он остановил наше внимание на известной песне «Последний нонешний денечек». Мы все и много раз слышали во время японской войны, она нам надоела, и мы как-то даже привыкли ее считать вульгарной, не стоящей внимания. И вот Никольский прочел ее нам в классе, с непередаваемой выразительностью и чувством, как великий артист и тотчас же серьезным тоном объяснив, какая глубина тоски, народного горя, горя простого люда, спрятана под казалась бы вульгарной оболочкой этой простой песни. Песня, которую мы все знали и раньше, теперь нам казалась совсем другой, новой, какой мы ее не знали. Это был для нас урок, незабываемый урок критической эстетики. И, кажется, мы его хорошо усвоили, после этого под всякой оболочкой, под всякими суждениями или осуждением мы уже стремились сами выяснить действительную ценность ли-

тературного произведения, которое мы читали или слышали.

Из сказанного выше ясно следует, какое могучее влияние на ум ребенка, молодежи, может оказать и оказывает выдающийся педагог, артист своего дела, особенно если он к тому же хороший человек, внушающий к себе уважение как к человеку. И с другой стороны, на примере Никольского мы еще раз убеждаемся в печальной истине, что истинно талантливый человек, вместо поощрения и достойного места, обычно встречает недоброжелательство, зависть, и часто погибает, правда, своей трагедией только возбуждая сердца своих поклонников к борьбе за правду и человечность.

Еще Гейне, великий лирик и насмешник, спросил: отчего, скажи, под крестом и весь в крови влачился правый, отчего везде бесчестный встречен почестью и славой? И ответил с усмешкой: Но это старая история, но она вечно остается новой! «Das ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu»!

Уже с 6-го класса, после пробуждения умственных интересов, правда тогда еще небольших, очень поверхностных, мой ум устремился к естествознанию. Станным образом, наибольший интерес в то время во мне возбуждали книги по космогонии и астрономии, а также по истории Земли⁹. Помню, я стал зачитываться романтическими по настроению, астрономическими фантазиями Фламариона¹⁰, вроде его Урании, историей мироздания Мейера¹¹, ископаемыми чудовищами Гетчинсона¹². Читал Дарвина, но сколько помню, его плохо тогда понял.

Никто не направлял меня в эту область знания. Дух юноши, очевидно, сам бессознательно стремился к бесконечному, к ознакомлению с предельными вопросами бытия, не имея еще никакой, даже элементарной

⁹ Первые несколько абзацев автобиографии точь-в-точь воспроизводятся в статье: *Коровин Е.И.* Творческий путь выдающегося исследователя Средней Азии Михаила Григорьевича Попова // Тр. Среднеазиатск. гос. университета. Ботаника. Ташкент, 1958, вып. 136, кн. 32. С. 7-20.

¹⁰ Фламарион Камиль Никола (1842–1925) – французский астроном, популяризатор науки.

¹¹ Мейер Макс Вильгельм (1853–1910) – немецкий астроном, популяризатор науки, руководитель общества «Урания», созданного с целью распространения научных знаний.

¹² Гетчинсон Генри Невилл (1856–1927) – американский палеонтолог.

философской подготовки. Любопытно, что в Реальном Училище в программе не было даже начатков философии, хотя было, например, Законоведение и тьма всякой истории – древней, средней и особенно новой! Реалисты, очевидно, считали философию столь же не соответствующей реальному, практическому знанию, как греческий и латинский языки: они предоставляли эти отрасли познания классическими гимназиями! Поэтому, мы, реалисты, оказывались без всякого философского образования, о чем можно горько пожалеть, ибо наука становится наукой тогда только, когда она делается философией, а мы пускались в море науки, не имея представления о философии, стало быть в челне без руля! Очевидно, больше всего влекла меня астрономия потому, что звездное небо, со сверкающими по нему звездами и планетами, которое мы видим столь часто, особенно мы, жители деревень в континентальных странах, всегда возбуждает в нас мистический и глубокий интерес своей непостижимостью. Я же всегда был склонен к мистике и к познанию; вид ночного, особенно вечернего неба, производил на меня сильнейшее впечатление; я был очень одинок, во мне уже бродили, неясные и для меня самого соки созревающего юноши и сознание смутно пыталось определить место своей индивидуальности в космосе, в природе. Общественные дела, о которых я имел малое представление, человеческое общество и мое место в нем, меня мало интересовали; я его не любил, природа была моим божеством, и свое место в ней я стремился прежде всего определить. Все это было, конечно, смутно осознано, – интуицией, не разумом, потому, что разум основывает суждения на опыте, а его у меня, понятно, не было, и никто мне не передал своего опыта, ибо у меня не было наставника, при своей же замкнутости я не имел и друзей.

Одновременно я начал интересоваться биологией, в чем сказались: с одной стороны, влияние одного молодого педагога, В.А. Ли-

ванова – брата известного казанского зоолога, профессора Университета, а с другой – моего товарища по классу, зоолога, ныне профессора Ленинградского Университета, Б.С. Виноградова¹³. Последний был старше меня и более развит, больше знал; поэтому на общих экскурсиях за город, которые мы оба очень любили, я получал от него много зоологических и геологических сведений, поучений: вместо охоты и рыбалки – ловля насекомых, водных животных, планктона или выискивание ископаемой фауны в мелах и песчинках вольских гор. Однако, мое чувство более склонялось к растениям, к ботанике, чем к зоологии; очень возможно, что к этому меня подталкивал В.А. Ливанов, которому, быть может, было интересно иметь среди своих учеников и зоолога, и ботаника. А помимо того, мы много занимались химией и знали ее отлично даже за пределами школьного курса, меня лично химия всегда глубоко интересовала.

Так мы с Б.С. Виноградовым и провели два последних школьных года, уже определив свое стремление к науке, даже к специальности, и намерение, после Реального поступать в Университет, на физико-математический факультет, а не в инженерно-технические ВУЗы, к которым нас, реалистов, собственно готовили.

Помню, что такое мое решение вызвало последний и окончательный мой конфликт с семьей, вернее с отчимом, с которым у меня уже несколько лет были весьма недружественные, почти враждебные отношения. Он был решительно против Университета и зло, требовательно настаивал на моем поступлении в технический ВУЗ, к которое я не чувствовал ни малейшей склонности. Мать, бедная и робкая, безвольная женщина, порабощенная властным мужем, молчала, хотя я знал, что в душе она согласится со мной без большой внутренней борьбы, пассивно, как пассивна вообще была ее слабая, но любящая натура. Я, конечно, не уступил отчиму, вообще это был

¹³ Виноградов Борис Степанович (1891–1958) – докт. биол. наук, проф., заведующий кафедрой позвоночных животных Ленинградского университета, отделом наземных позвоночных ЗИН АН СССР, основатель Ленинградской школы териологии.

ненужный, бесполезный, злой разговор, бесполезный потому, что в то время я уже сам зарабатывал себе средства на жизнь, репетирова маленьких учеников нашего же училища, моя семья тогда впала в полное материальное ничтожество, ибо отчим за что-то был уволен с железной дороги и перебивался кое-как на жаловании писца-делопроизводителя городской Управы. Жили мы очень трудно, буквально на копейки, ибо и я зарабатывал не более 10-12¹⁴ рублей в месяц. Обед мой состоял из чашки супа, правда, с куском мяса и фунта черного хлеба. Но что это был за чудный хлеб, я и сейчас помню его вкус – он был намного вкуснее чем пирожное, которое теперь готовят. Наш город вообще славился своим черным и белым хлебом, тогдашние пекари были в подлинном смысле художниками и профессорами своего дела, я уверен, что мы уже никогда не будем есть подобного хлеба, ибо таких пекарей уже нет и нет той муки и зерна, которые тогда были. Также и кусок мяса в супе или щах мне казался чудесным – вероятно потому, что мне было 16-17 лет и я по существу ел как следует только один раз в сутки.

И вот, ради будущего Университета, мы с Б.С. стали изучать латынь – нужно было сдавать по ней экзамен дополнительно экстерном, чтобы иметь право поступить в Университет, без латыни туда не принимали. Готовиться самим было трудно, мы учились частным порядком у преподавателя латинского языка местной духовной семинарии Введенского, что для меня представляло особые затруднения, ибо ему нужно было платить что-то около 5 рублей в месяц при групповом занятии втроем, а 5 рублей были большими деньгами в моем скромном бюджете. Тем не менее мы учились и учились с энтузиазмом. Перед нами вдруг раскрылся неведомый до того мир классики, античной культуры, о котором мы, реалисты, почти не получали представления в нашей реальной школе. Я начал читать Цезаря. Понятно, что в школе когда-то в 3 или 4 классе, в Древней Истории я

проходил что-то о Цезаре, но он был там обезличен, как бусинка в четках, среди бесчисленных других героев, царей и полководцев и это к тому же было так давно, что Цезарь мне скорее представлялся мифическим образом наподобие Геракла или Агамемнона, чем реальным существом. А теперь я держал в руках книгу, им самим написанную, и оказывалось, что он был совершенно настоящим человеком, который не только воевал замечательно, но столь же замечательно и писал, не хуже даже, чем мои любимцы Майн-Рид и Фламарион. Это было уже поразительным открытием! А далее шли еще более удивительные вещи. Вечный город Рим с величественным зданием Форума на Палатинском холме, мраморные здания с колоннами, увенчанными дивными капителями, сверкающие в ярком солнце, такие простые и божественно прекрасные, статуи богов и богинь на площадях, суровые солдаты могучих легионов, поднимающие мечи и кричащие: Ave Caesar, morituri te salutant! – Готовые умереть тебя приветствуют! Пурпуровые тоги сенаторов в пестрой толпе волнующегося римского плебса – вся величавая и грозная история Рима, первого и единственного в своем роде мирового государства, откуда вышла и наша культура: Петр – в Риме, и Петр I у нас, а за ее спиной сияющая красотой и нежностью культура Эллады с обожествленной природой, веселыми богами и поистине божественными взлетами научной и художественной мысли.

Для нас этот год латинской учебы был новой и большой школой, определяющей на всю жизнь любовь к античному миру, его поэзии, философии, к его художественной и государственной деятельности. Молодежь в подходящем возрасте и в соответственном настроении за год усваивает столько, сколько взрослые люди за 10-15 лет. Но, пожалуй, для этого молодежь должна питаться хлебом, выращенным на еще не истощенных черноземах.

¹⁴ К примеру, по официальной статистике средняя заработная плата в 1913 г. в России составляла 23 руб. в месяц, в переводе на современный курс – порядка 14500 руб.

Лето 1910 года, после окончания училища я провел в Саратове, продолжая готовиться по латыни, чтобы осенью сдать по ней экзамен при гимназии и ехать в Университет в Казань. Саратовское лето, как известно, жаркое, особенно в городе и его нелегко было переносить хотя я жил на пустынных и с деревьями Крафтовских землях, на краю города, близ вокзала, на которых было лучше чем в самом городе. Это было трудное для меня лето, чтобы иметь время зубрить латынь я взял только один репетиторский урок и жил на копейки почти исключительно на чае и хлебе, совсем без мяса, помню хорошо, что с июля нашей ежедневной пищей обедом, я жил с братом, в его комнате – были красивые свежие томаты с луком, растительным маслом и хлебом.

Здесь в Саратове началось мое знакомство с миром ученых. В.И. Иванов как-то повел меня в недавно открывшийся в Саратове Университет, в котором тогда был только медицинский факультет, на кафедру ботаники и представил меня как начинающего в этой области любителя профессору А.Я. Гордягину¹⁵ и его ассистенту Д.Е. Янишевскому¹⁶ – оба они были из Казани и ушли оттуда из-за профессора К.С. Мережковского¹⁷. А.Я. Гордягин, такой же замечательный русский человек, с таким же достоинством и талантом педагога, как и Никольский, был тогда в средних летах, еще совсем без седины и очень веселый. Он, конечно, без большого интереса, но все же радушно посмотрел на приведенного к нему угловатого и плохо одетого неловкого юношу, т.е. на меня, и сказал что-то очень немногое, меня удивило, что вместо того, чтобы поощрить меня к занятиям ботаникой, он полувопросительно сказал, что пожалуй, филология интереснее и спросил, знаю ли я французское слово *le rival*, я сказал, что знаю и он

мне тотчас пояснил происхождение его, которое конечно мне было неизвестно: французское *la rive* – берет от латинского слова *rivane* – река, *le rival* – соперник, живущий тоже на берегу реки и старающийся ее использовать раньше других или преимущественно перед другими – например, для орошения или для установки мельницы и т.п.

Осенью я не уехал в Казань, у меня не было денег и не была готова латынь, кроме того намек Гордягина о филологии я понял так, что мне лучше надо знать языки. И я остался на зиму в Саратове, взял несколько уроков, полученных с помощью знакомых, и засел за немецкий язык и латынь. Жил я тогда прилично, в отдельной комнате в городе, и за зиму натерел в немецком так, что мог читать не только научные книги, но и художественную литературу, моим любимцем был Гейне, и тогда я понял насколько великий художник он был – из грубого тяжелого немецкого языка он сделал сладкую музыку: *Warum sind denn die Rosen so blaß, O sprich, mein Lieb, warum? Warum sind denn im grünen Gras Die blauen Veilchen so stumm?*¹⁸

Овладев немецким и латынью, я заодно принялся и за эсперанто, но В.А. Ливанов, узнав об этом, сердито сказал, зачем тебе тратить время на дурацкую выдумку, учи лучше английский язык – язык живого народа.

В эту зиму, в ее конце, я познал нежный аромат и очарование первой любви. Ее мне внушила сестра одного из моих учеников, грациозная худенькая девушка с нежными глазками. Вероятно в ней не было ничего особенного, я видел ее потом года через два, курсисткой в Ленинграде и не был ею восхищен, но тогда в Саратове она меня очаровала, и я ей нравился. Это было ясно и по легкому пожатию руки, и по нежному взгляду; тонкое влечение молодых людей друг к другу, Дафни-

¹⁵ Гордягин Андрей Яковлевич (1865–1932) – чл.-корр. АН СССР, основатель Казанской геоботанической научной школы.

¹⁶ Янишевский Дмитрий Эрастович (1875–1944) – русский и советский геоботаник и морфолог растений.

¹⁷ Роль К.С. Мережковского как «проводника резко реакционной монархической идеологии» оценена современниками как отрицательная для кафедры ботаники и Казанского университета в целом (*Марков М.В.* Ботаника в Казанском университете за 175 лет. Казань, 1980. 104 с.).

¹⁸ «Почему розы так поблекли, о скажи, моя любовь, почему? Почему же в зеленой траве голубые фиалки так безмолвны?».

са и Хлои, даже не ясное для них по целям, невольное и неконтролируемое, передается ими друг другу с помощью какого-то магнетического чувства, не нужно ни слов, ни записок.

Из этой любви ничего не вышло. Весной 1911 года, в июне я уехал репетитором одного довольно взрослого парня в заволжское степное имение его отца, к Семиглавному Мару¹⁹, в область сырта²⁰. И до отъезда я собирал растения в окрестностях Саратова, но любовь мне сильно мешала – я больше стремился видаться с милой, на ее даче, в Разбойщине²¹, чем ходить по лесам и горам. Профессор А.Я. Гордягин, которому я приносил свои сборы, был тонкий человек, стрелянный воробей и, наверное, откуда-то обо мне узнавал и не раз с лукавством посмеиваясь, отмечал, что по какой-то причине мои ботанические сборы оказываются скудноватыми.... Я смущался и уходил.

А теперь я оказался в степи. Маленькая степная реченка, Селянка, была перегорожена большой плотиной и создавала выше нее огромный пруд, по берегам, а кое-где и в середине поросший тростником и кустами ивы. У плотины стояла мельница, а сбоку, метрах в ста от пруда – хозяйский дом. Хозяин был помещик парвеню²², купец, арендовавший или купивший имение и развернувший на нем большое, но экстенсивное зерновое хозяйство. Человек он был довольно для купца, культурный, мягкий и добрый. Не думаю, чтобы у него хозяйство шло блестяще, но он заботился о нем, почти всегда был занят и дома был изредка, а когда был, то вел себя тихо, предоставляя хозяйничание жене. Кроме сына, моего ученика, у него были еще две старшие дочери, одна из которых, кажется уже работала учительницей. Я мало входил в жизнь хозяев и, признаюсь, мало занимался учеником; он был здоровый, веселый парень, охот-

но развлекавшийся деревенскими радостями и совсем не был склонен к скучным наукам. Моими же радостями были экскурсии за растениями, в праздники далекие – на Сырт, верст за 25-30, в другие дни, когда было возможно, более близкие – в степь, вернее в поля, ибо степь поблизости была распахана. Но по склонам сырта, ближе к железной дороге, она была еще цела на километр – летом она серебрилась ковылем и поскольку ее там, на сопках, прерывали выходы коренных пород, каменистые обнажения, с богатой флорой, она влекла меня неудержимо и давала мне много радости. Здесь, в Семиглавом Маре, я познал степь, поскольку был к этому способен. Это бескрайние просторы, без леса, в которых лесному жителю могло быть скучно, но где я себя чувствовал восхитительно; пустынно и тихо, людей нет; кочкарная трава волнуется под ветром; из-под чахлых степных кустов выскакивают, трепеща крыльями, стрепеты; на небольших озерах – лужах, в полях, гомон кроншнепов и писк беспокойных чибисов. Местами лежали полотнища белых солончаков, по краям со странными кустами-тамарисками: Каменистые известняковые склоны сопки ослепительно блестели в ярком и жарком солнце. Вдали миражит, и иногда появляются как бы заливы, воды, даже с кустами по берегам. В школе я все любовался на картину: фата-моргана в Сахаре, там были миражи – зеленые пальмы, оранжево-желтые пирамиды, перевернутые вверх ногами. Но в степи миражи бесцветны: вода и даже кусты серы, как бы нарисованы карандашом и стоят прямо не перевернуто; позднее в пустынях Средней Азии я видел такие же серые, бесцветные перевернутые миражи.

Я родился и жил ребенком на веселых мелководных горах Вольска, которые одеты кудрявыми дубовыми лесами. На опушках и полях там много ярких цветов; очень рано

¹⁹ В настоящее время село Достык Таскалинского района Западно-Казахстанской области Республики Казахстан в 284 км к востоку от Саратова.

²⁰ Сырт – вытянутая плоская широкая увалистая возвышенность, расчлененная балками и ложбинами, покрытая степной растительностью (в Заволжье и Южном Предуралье).

²¹ В настоящее время пгт Соколовый в Саратовском районе Саратовской области.

²² Здесь: подражающий аристократам

расцветает золотистый как солнце горицвет – адонис, потом фиалки и ландыши. Незабудки местами создают на полянах чудесные голубые ковры, а кое-где, в укромных местах, можно найти роскошный малиновый пион, который почему-то у нас называют очень красиво, пусть и неверно «лазоревым» цветком. В заволжской степи нет ни кудрявых дубняков, ни ярких, красивых цветов; злаковая трава все заполняет, и только розовые головки гвоздики доставляют ей скромное и милое украшение.

Но все же хороша, привольна степь, и чуден в ней воздух, насыщенный каким-то особым запахом – то ли полыни, то ли пыльцы злаков, горьковатыми, но возбуждающими. Так хорошо изобразил этот запах степи Майков в стихотворении «Емшан»: «и едет он, пучек травы степной из рук не выпуская».

В августе я вернулся в Саратов, подкормившийся, окрепший в степи и с некоторой суммой денег, наверное не более рублей 60, для поездки в Казань, в Университет. Билет до Казани на «Купце» – пароходе купеческой компании, самой дешевой, но и плохой – стоил всего 4 ½ рубля, из вещей у меня было только один небольшой чемодан с бельем. Но зато у меня не было никаких забот, кроме себя, а поскольку я был здоров, то и эти заботы были очень не велики.

Счастливая, хотя быть может и эгоистическая, пора молодости, когда ни о ком не думаешь, даже почти не думаешь о себе, когда сил и здоровья много, так что не чувствуешь ни головы, ни ног – все тело находится в совершенной гармонии и в функциональном совершенстве; вот чего никогда нельзя вернуть, если оно уже ушло вместе с молодостью – беззаботности, совершенной свободы, ясности головы, мысли!

По натуре я был пессимистом, так как я не имел общественного воспитания, был дичком и никогда не приходил в гармонию с окружающими меня, хотя и немногими, имевшими ко мне отношение, людьми. Я их никогда не любил или с ними вступал в конфликты из-за неумения смягчить случайное расхождение несогласия, или же относился к ним столь

безучастно, что они обижались и охладевали ко мне, быть может, считая меня, и не без оснований, за грубого эгоистичного, а иногда зазнающего молодого человека.

Должен признаться, что у меня даже не было никаких твердых нравственных устоев; да и кто мне мог их привить – семья не умела этого делать и не особенно мной вообще интересовалась. Семейная жизнь матери с отчимом, не очень приятная и складная, глубоко нас огорчала и отталкивала. С людьми, которых я уважал, вроде Никольского, я никогда не был близок, а школа и тогда, так и теперь, больше старалась дать реальные знания, например, в математике, вплоть до интегралов, чем сформировать нравственный облик ребенка и юноши, сделать из него человека, познакомить его с элементами этики, личной, общественной, внедрить в него эти элементы. Так вырос и я – без воспитания, личного, общественного, а я по натуре был нелегкий объект, упрямый и самолюбивый, к тому же очень нервный и склонный к гипертрофированию чувств, хороших и плохих, поэтому даже студентом я был еще нравственным недорослем, что вообще характерно для российской молодежи, а во мне было выражено более, чем у многих сверстников. Если я при таких условиях не впал в молодости в большие ошибки и не совершил больших недозволенных поступков, то этим я обязан не какому-то нравственному чувству, сидевшему внутри меня – по-моему оно во мне не сидело, а скорее пассивности природы, нелюбви быть близким с кем-нибудь, иметь какое-либо дело с другими, в том числе и товарищами. Я жил только умственными интересами, а интересов у меня даже в молодости не было; никогда я не помню, чтобы я мечтал о приобретении чего-либо, о каких-либо материальных ценностях, о карьере – я никогда даже не думал быть профессором или вообще иметь какое-либо звание, чин, либо положение. Познавание ради него самого, ради радости, которую оно дает познающему, как бы богатеющему, собирающему сокровища в самом себе – было единственной заботой и даже почти инстинктивным чувством, направлявшем мою

жизнь. Материально для этого мне нужно было немного – иметь отдельную комнату, хотя бы почти пустую, где я мог бы читать и размышлять или фантазировать, а фантазия у меня работала интенсивно, да немного пищи – я в ней был всегда умерен – для поддержания нормального здоровья, вот все что мне требовалось, в чем я нуждался. Одевался я всегда плохо и небрежно, меня это не тяготило; даже на счет чистоты я был крайне не требователен в молодости. Единственно, чего я хотел – это путешествовать, видеть новые места, иную природу. Бродяжничество с научными целями было моей всегдашней и лучшей отрадой – и таким я остался с этим странным вкусом, до конца своей жизни. Мне всегда импонировали слова Султана Бабура, великого монгола, воителя и писателя: жизнь – дорога, счастье – конь, а наш отдых караван – сарай! Обстоятельства как-то благоприятствовали, хотя и не до конца, не до намеченной точки, моим стремлениям к путешествиям, но я не достиг того, величайшего, о чем всегда мечтал – попасть на несколько лет, с целью научного исследования, в тропический лес, безразлично на Конго, Амазонку или на острова Малайского Архипелага. Этого высшего счастья на мою долю не выпало!

В Казани на первых порах, мне пришлось туго. Поступив в Университет, я, выражаясь политически, был принужден на подобие современной Англии, растратить весь свой золотой запас – какие-то 60 рублей у меня были действительно в золоте, в золотых николаевских 5-рублевках, а посему сесть на мель. 40 рублей золотом – ужасно подумать! – я внес за учение в Университете – 25 общих и 15 профессорского гонорара по часам лекций, 5 рублей заплатил хозяйке за комнату и остался с 15 рублями, а может быть и с десятью, на целый семестр. Даже при всякой скромности жизни, эта сумма не могла обеспечить меня

больше, чем на месяц, ведь нужны были кроме еды еще книги и разная учебная мелочь. Но, с одной стороны, у меня уже был некоторый опыт жизни, а с другой стороны, как всегда, помогли знакомые. Профессор Гордягин написал обо мне своему другу, профессору Поленову²³, а Ливанов – брату. Эти два оба пришли ко мне на помощь. Профессор Поленов, минералог, был солидный и важный человек, а его супруга пышная дама, с удивительно пушистыми светлыми волосами, очень нарядная и любезная. Она была одной из заправил так называемого «Общества вспоможения бедным студентам»²⁴ при Казанском университете. Для нас, нуждающихся студентов, она была прекрасной, хоть и немного строгой, богиней – вроде – Афины-Паллады. За ничтожную сумму, а иногда и бесплатно, она давала нам билеты в столовую, которую содержало общество. По этим талонам нам там отпускали обеды, простые, но приличные. В минуту трудную можно было пройти в столовую даже по самому дешевому билету: кружка молока, кажется за 5 копеек, а пройдя в столовую, мы могли есть сколько угодно черного хлеба, соленых огурцов и пить кваса, ибо все это добро стояло в неограниченном количестве на столах и не порционировалось. Наевшись этих нехитрых яств и запив кружкой молока, мы уходили до известной степени удовлетворенными.

Помимо билетиков в столовую, я получил еще один репетиторский урок рублей за 7 и был доволен, ибо таким путем обеспечен прожиточным минимумом. Я стремился конечно, прежде всего, к серьезным занятиям в Университете. Начались лекции и практические занятия в лаборатории, особенно много последние отнимали времени в химической лаборатории, по анализу.

Казанский Университет к тому времени имел неплохой профессорский состав, хотя

²³ Поленов Борис Константинович (1859–1923) – геолог, в 1904–1913 гг. – профессор Казанского университета, а также президент Общества естествоиспытателей при университете.

²⁴ Общество, созданное в 1871 г. по инициативе профессора медицины Казанского университета Н.А. Виноградова для поддержки малоимущих. Кстати, в начале XX в. более 50% российского студенчества можно было отнести к категории бедных (*Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX – начала XX века: социально-историческая судьба. М., 1999. 414 с.*).

блестящий период Университета уже был в прошлом. Тем не менее мы очень скоро пришли к убеждению, не знаю оправданному ли фактически, что самая непроизводительная затрата времени – это слушать лекции профессоров: большая часть их читалась посредственно, по крайней мере нам так казалось – без вдохновения, без особых идей. К тому же по всем курсам тогда, в противоположность современности, были вполне подходящие по объему и содержанию учебники, печатанные или гектографированные, или написанные самими профессорами, или ими рекомендуемые. Мы считали, что сидя дома над такими учебниками, в тишине и средоточии, мы могли гораздо скорее и лучше усвоить их содержание, вдумываясь в него и критически к нему относясь, чем воспринимая его на слух, на лекции, часто читаемой плохо даже с внешней стороны и к тому же в довольно шумной аудитории. Только лекции, которые сопровождалась регулярными демонстрациями с опытами, мы посещали непрерывно; на остальные ходили почти по очереди, для порядка, чтобы не пустовала аудитория, ибо начальство (декан) тогда сердилось, и до известной степени мы не хотели, кроме того огорчать лекторов отсутствием слушателей; в этом отношении у нас была какая-то общественная этика. Основное свое внимание мы отдавали лабораторным занятиям – по существу в лаборатории мы и учились, в них мы себя чувствовали как дома.

Провинциальные Университеты, уступая столичным по подбору профессоров и иногда по богатству оборудования, имеют однако, свои преимущества – прежде всего, в них студенту легче использовать лаборатории, ибо число занимающихся студентов гораздо менее значительно, лаборатории свободны, оборудование в них относительно, считая на душу студента, больше и оно легче доступно, так, что если у студента есть охота заниматься, то в провинциальном Университете он может сидеть и работать в лаборатории сколько угодно. Я говорю, конечно об общих лабораториях, вроде лаборатории химического анализа или анатомического музея. Мы так

и делали, целые дни проводили за анализом, что позволяло углубляться и проходить анализ быстрее.

Мои личные симпатии сразу же раздвоились между химией и ботаникой; совсем как в «Горе от ума» – «он химик, он ботаник, князь Федор, мой племянник». Поэтому я пропал в обеих этих лабораториях. И в обеих, помимо науки и поучения, меня ожидали встречи с людьми, оставившие глубокую память в моей психике.

Не помню как и когда именно, но по всей вероятности в химической лаборатории, я встретился с одним сокурсником, студентом, которого я мог бы считать единственным другом мужского пола, который был в моей жизни и который оказал на меня сильное влияние – его звали В.И. Никифоров. Судьба нас разлучила через полтора года после начала нашего знакомства, сперва, казалось, временно, а потом, как это любит устраивать насмешница Судьба, навсегда, ибо Никифоров был во время войны выпущен, наряду с другими студентами, в офицеры и пропал без вести на каком-то боевом участке фронта. Так я и не знаю, был ли он убит или попал в плен, и где и как он кончил жизнь. Для меня он был чем-то сверкнувшего в темном небе, пришедшего из тьмы и обратно в нее скрывшегося метеора. Однако, внешне он вовсе не был блестящ и вовсе не подходил, даже по своему характеру, на метеор. Напротив, характер у него был несколько флегматичный, хотя может быть, это только казалось, ибо он обладал, в контраст со мною очень большой выдержкой, упорством в достижении цели, и в то же время это был мягкий характер, по-видимому, способный к большой любви. Он был очень серьезен, вдумчив и развит не по летам: его уже никак нельзя было назвать недорослем, вероятно, во всем курсе он был единственным вполне взрослым, сформировавшимся интеллектом, хотя он и был не старше нас по годам. Даже учитывая возможные ошибки моего суждения, которые могут быть результатом моей тогдашней молодости, все же всю жизнь вплоть до настоящего времени считал и считаю, что В.И. Никифоров, был самым талант-

ливым, самым умным человеком, которого я встретил в жизни. Он вместе со мной занимался химией, без всяких колебаний в сторону биологии, напротив, с явным уклоном в сторону физики и математики, и я убежден, что если бы судьба его сохранила, он был бы великим химиком – вторым Менделеевым, а может быть и более великим.

Будучи студентом 1 и 2 курсов, он поражал даже профессоров и доцентов глубиной и оригинальностью своих суждений в различных проблемах химии; это выражалось в том, что он подходил к вопросу обычно с такой неожиданной стороны, с какой обычному уму не приходило в голову подойти и путем ряда особых заключений приходил к верному и часто особому решению. Мне кажется гениальность, талант ученого и состоит именно в способности видеть вещи не с той стороны, с которой и видит или способно видеть большинство людей, нормальные умы. Подходить в вопросу иначе, не с того конца, с какого подходит обыкновенный ум, а с казалось бы, случайного и несущественного пункта, который, однако, как оказывается, дает ключ к разгадке или пониманию вопроса. Гениальный ум, это aberrация, сильное отклонение от обычного строения человеческого мозга, от нормы. Когда читаешь, например, «Математические начала естественной философии» Ньютона, то поражаешься именно его способностью мыслить не так, иначе, чем мыслят или мыслили другие люди и казалось бы нормальным мыслить. Недаром гении вроде Ньютона по временам впадают в сумасшествие; структура их мозга слишком необычна, им очень немного нужно, чтобы совсем выйти за пределы понятного с точки зрения нормальных людей.

Вот таким необычным, с совершенно особой структурой мозга – умом обладал и В.И. Никифоров. Когда он был молод и беззаботен, как юноша, он внешне производил совершенно нормальное впечатление, он был хорошо воспитан, сдержан и вежлив, одевался аккуратно, конечно без всякого щегольства, любил чистоту и порядок, и опять-таки в меру нормы, но кто знает, каким он бы мог

стать или действительно стал, когда заботы или горе воздействовали бы на столь необычную голову, Уже после того, как мы с ним расстались – я перешел в 1913 году в Ленинградский Университет – я услышал от одного знакомого студента, нашего сокурсника, что В.И. стал чудить, перестал заниматься и лето 1913 года провел в одиночестве, на берегу Камы, сторожа какой-то луговой заповедный участок, что было уже совсем не дело его специальности. Сам я, поглощенный ботанической работой, экспедицией в Среднюю Азию, которая открыла мне новый, упоительный и целиком меня захвативший в свои чаровные сети, мир, не нашел ни досуга, ни желания написать письмо своему другу – мы оба были молоды и слишком беспечны, а я, кроме того чересчур эгоистичен, так мы потерялись друг для друга и уже навсегда. Хорошо это или плохо – я не умею сказать, не могу решить, но во всяком случае, так, как случилось, В.И. Никифоров остался для меня самым дорогим образом жизни – рыцарем ума, без пятна, страха и упрёка. Он был белокур, с почти льняными, всегда коротко остриженными не пышными волосами, с лицом обычным, русским, не красивым, но приятным. Особенностью его был низкий лоб, прорезанный, что нас помню, удивляло, тремя мощными поперечными складками, глаза имел серые, а рост средний. Он был кажется пятым или даже седьмым ребенком в своей семье учителя или инспектора гимназии в Царицыне, т.е. был моим земляком по губернии. У нас в Университете еще сохранялась какая-то традиционная тень землячества. О семье он отзывался всегда тепло, и семья ему помогала материально, так что он жил значительно лучше меня.

По-видимому, влияние его на меня было особенно значительным потому, что в лице его я впервые встретил сверстника, товарища, который общественно был развит и мог быть для меня руководителем, учителем в этой сфере (мой школьный товарищ Б.С. Виноградов с общественной точки зрения был абсолютно пассивен, индифферентен, общественными вопросами не интересовался и ни-

когда о них не говорил). Напротив, В.И. Никифоров имел уже вполне сложившиеся моральные и социальные взгляды. Когда я стал взрослым, я понял, что в таких случаях решающим фактором является семья, ее влияние. Очевидно, у В.И. Никифорова семья была интеллигентна и умна. В сфере моральной В.И. был безусловно честен, стоек и целомудрен, в нем не было ни тени цинизма, ни внутреннего, ни внешнего. О каких-либо сексуальных проблемах, о которых так любит говорить молодежь, или о любовных делах он никогда не говорил, даже под хмелем, а мы иногда, больше под воздействием товарищеских студентов, а не по собственному почину или позыву, особенно, в Татьянин день выпивали. Несмотря на то, что он был остроумен и иногда бывал в веселом настроении, он никогда не рассказывал анекдотов, в которых было бы нечто сальное. Если случайно приходилось говорить о женщинах, он говорил о них с уважением и, помню, даже как-то случайно вскользь он упомянул о девушке в Царицыне, к которой он чувствует любовь, но которая к нему равнодушна.

В сфере социальной, политической он был вполне грамотным. Очень религиозным он не был, умеренно интересовался теологическими проблемами – нам с ним пришлось заниматься и сдавать экзамен, правда, сведенный в то время на фикцию, по богословию, но я не слышал от него ни одного осуждения по адресу церкви и религии, которые были тогда столь модными. Политически он был стойким и определенным либералом, наверное – кадетом. Меня, например, он сразу познакомил с заветами всех направлений, от марксистских до монархических и дал характеристику как их, так и их идейных вождей и руководителей. Для меня это было совсем новым знанием, целым открытием: при его горячей рекомендации я начал и любить единственную, по его мнению, достойную чтения газету «Русские ведомости»²⁵, которую издавал коллектив

московских профессоров. Газета действительно была хорошей.

Конечно, основой темой наших разговоров были вопросы химии, физики и математики, в меньшей степени – биологии. В.И. всегда страшно удивлялся, зачем я занимаюсь ботаникой, имея столь большие наклонности и способности к химии, это мнение я позже много раз слышал и от других и сам высказывал его себе про себя. Общественные же разговоры у нас были случайными и отрывочными, мы были слишком заняты учебой и наукой и вели их только в редкие минуты усталости и отдыха. Тем не менее, вероятно, мои общественные и политические симпатии были в основном оформлены, фиксированы именно под воздействием В.И. Никифорова. Наши духовные существа, видимо в значительной степени совпадали, вплоть до чувства патриотизма, но он как старший по развитию, был руководителем и фиксировал в форме сознательных определений то, что соответствовало нашему духовному складу. Особенное значение для меня и, наверное, для него имели наши беседы по естественной философии. Невозможно даже при большом уме, и мы оба им обладали – передумать все и оформить сознательно все мысли или обрывки их, скользящие в голове следы мыслей, в самом себе, в одиночестве, без общения с другим или другими умами, которые подталкивают, исправляют и направляют наши собственные суждения. Позднее для обдумывания, формулировки, уточнения своих суждений я пользовался докладами в научных кружках и обществах, своими лекциями для студентов, иногда просто заставлял кого-нибудь, иногда жену, себя слушать, зная, что во время речевого изложения, особенно, если при этом встречаются возражения и замечания со стороны слушающих, всего лучше, яснее и логичнее складываются твои собственные суждения – здесь играет роль напряженность внимания, ответственность за слова, даже просто необходимость сделать их понятными

²⁵ «Русские ведомости» – российская общественно-политическая газета, выходившая в Москве с 1863 по март 1918 г. Представляла собой печатный орган либеральной московской профессуры и земских деятелей, противостоявшим более консервативным «Московским ведомостям».

и ясными для слушателя, который иначе ведь не станет и слушать. На первом курсе университета мы едва осмеливались, и то в редчайших случаях выступить в кружках, так что беседы вдвоем были самым важным методом развивать логические суждения, и, мне кажется, что именно в беседах с В.И. я впервые приучился к стройному логическому анализу и синтезу, к точному оформлению мысли, что позднее стало моей как бы врожденной потребностью.

Можно, конечно, до какой-то известной степени гордиться этой способностью, но с другой стороны, признаюсь, эта способность доставила мне впоследствии массу личных огорчений, потому, что, во-первых, показала мне, к моему великому огорчению и разочарованию, отсутствие у большинства ученых-биологов этой способности, а не очень весело при моей жалостливой натуре видеть обездоленность в других, в коллегах, которые таким образом, оказываются неполноценными в науке, а, во-вторых, эта способность постоянно выводила меня из сферы принятого в науке, освещенного научной традицией, и тем самым ставила в оппозицию к большинству, державшемуся священной традиции.

В.И. Никифоров был светлым пятном в моих соприкосновениях с человечеством. Мы встретились с ним случайно, мягко и на одинаковых уровнях и правах сошлись во взаимном умственном общении. Ни одна размовка, сколько помню, не нарушила наших в общем не близких отношений и мы расстались случайно, без огорчений, сохранив добрую память друг о друге. Возможно, что в моем изображении этого человека есть какая-то доля идеализации, но я могу честно сказать, что именно таким и не каким-либо иным он мне представляется, а я здесь рассказываю только правду, т.е. то, что мне самому кажется правдой. Ведь всякое наше суждение субъективно, и наши истины являются таковыми только для нас, их ощущающих, а свое объек-

тирование они получают лишь по мере того, сколько людей и с какой силой убеждения к ним присоединяются, их принимают за истинное. Во всяком случае, после знакомства с Никифоровым я всю жизнь страстно искал действительно талантливых в умственном отношении людей, уже безразлично к их возрасту, быть может бессознательно желая сравнить их с ним и мне удалось увидеть несколько человек выдающихся, а одного даже талантливого, но такой умницы, каким был В.И. я уже не встречал.

Я не хочу ни сам впасть в ложную и смешную мистику, ни вовлекать в нее других, но все же иногда мне кажется странной случайностью то, что обоих выдающихся людей, оказавших на меня сильнейшее влияние, Никольского и Никифорова, звали по имени и отчеству, одинаково, а фамилии их начинались на одну и ту же букву Н. Равным образом оба они одинаково имели не заслуженную ими, совершенно не соответствующую их дарованиям, судьбу.

Казань после Саратова и Вольска, показалась мне грязным, пасмурным и неудобным городом, и мне было странно вспоминать, что родные моей матери, выходцы из Казани отзывались о ней с таким теплым чувством. В значительной мере, вероятно, мое отношение к Казани определялось тем бедственным существованием, которое мне там пришлось вести – плохой комнатой, которую я все же оплачивал один, не желая жить вдвоем, недостаточным питанием и плохой одеждой. И действительно мне было трудно. Вместо урока, я стал подрабатывать перепиской: добрейшей души человек, профессор физиологии растений В.В. Лепешкин²⁶, наверное из желания дать мне заработок, предложил мне каллиграфически, от руки, переписывать его рукопись *Курса Физиологии*²⁷, который он готовил к печати. Это имело для меня двойную пользу – с одной стороны такая работа приятнее, чем репетировать тупого мальчишку,

²⁶ Лепешкин Владимир Васильевич (1976–1956) – профессор кафедры ботаники Казанского университета, в 1914–1921 – вице-президент Общества естествоиспытателей при университете.

²⁷ Книга, вышедшая в 1912–1914 гг., состояла из двух частей общим объемом 445 с.

который глуп и к тому же не хочет учиться, а с другой, переписка выправляла мне почерк, ибо чувствуя ответственность я старался писать возможно яснее и аккуратнее... Но все же к весне, после зимней сессии экзаменов и перед весенней, более ответственной, я выдохся настолько и, по-видимому, очевидно для посторонних, что супруги Поленовы опять вмешались, свели меня с ученым лесничим А.А. Юницким²⁸ и перед весенней сессией, оформив отпуск в Университете, отправили меня к Юницкому в Паратское лесничество в лес, на сдельную работу; там я должен был вести наблюдения – делать промеры и определять плодоношение срубаемых выборочно сосен. В лесу еще лежали пятна снега, весна почти не чувствовалась.

Промерив назначенную к срубке сосну, это были крупные деревья, я отходил в сторону, а рабочие, мужички, принимались ее подпиливать, определив на глаз, в какую сторону она будет падать. И вот внезапно лесной великан клонился, а затем быстро и грозно падал, ломая ветви, ослепительно белые неправильные обломы которых, торчащие из светло-коричневой коры, в точности напоминали обломки костей. Сосны мне казались столь же живыми, как и люди, и мне чудилось, что они чувствуют боль и страдание.

Недалеко от Паратского лесничества лежала знаменитая в Казани Раифская Пустынь – мужской монастырь, окруженный с трех сторон чудеснейшим, монастырским бором! Хотя природа здесь суровее, чем у нас, в Саратове, однако, это чудесное место. Почва могучего бора покрыта зеленым бархатом мха; с другой стороны монастыря, в ельнике или мелком лесу, дымится туманом озеро, ранним утром из розового небосклона через кроны деревьев и клубящиеся туманы озера пробивается, восходя, яркое солнце, согревающее тело, скованное рассветным ознобом. Хлопотливые черные фигуры монахов снуют между белыми домиками и стенами обители,

разнося приезжим богомольцам чай, баранки, просфиры. И весь этот маленький уютный мир замкнут в лесах, далеко от сутолоки и огорчений города.

А.А. Юницкий был живой, образованный, молодой и холостой мужчина, вечно полный замыслов и ко мне отнесся с искренним расположением. Ему хвалили меня и Поленовы, и на кафедре ботаники, где я работал зимой, чередуя работу там с работой по химии. Кафедра ботаники в тот год переживала или вернее доживала кризис, связанный с именем ее профессора и руководителя К.С. Мережковского. Это был родной брат известного писателя и тоже большой художник. Только в другом, худшем смысле.

В первую зиму моего пребывания в Университете 1911-1912 гг. его не было в Казани, он был за границей в научной командировке; номинально кафедрой заведовал В.В. Лепешкин по совместительству – у него была своя кафедра на Арском поле, а фактически работу на кафедре вел доцент Б.А. Келлер²⁹, будущий академик.

Мережковского мы увидели только на второй год, зимой 1912-1913 гг., а весной 1913 года он имел уже странный конец, после чего всякий след его в мире затерялся.

Нам рассказывали, что Мережковский появился в Казани всего немного лет тому назад, ассистентом кафедры зоологии позвоночных. Старый профессор этой кафедры Остроумов, как-то летом, будучи на отдыхе в одном из курортов Финляндии, встретил там страшно понравившегося ему, симпатичного человека. Тот рассказал Остроумову, что он занимался археологией и ампелографией в Крыму, даже ботаникой в США, много бывал за границей и был бы не прочь, если угодно профессору, заняться и зоологией.

Очарованный талантами, манерами и разнообразием интересов Мережковского, Остроумов взял его с собой в Казань и сделал своим ассистентом. Однако на этой кафедре

²⁸ Впоследствии первый декан Лесного факультета при естественном отделении физико-математического факультета Казанского университета Александр Александрович Юницкий.

²⁹ Келлер Борис Александрович (1874–1945) – академик АН СССР и ВАСХНИЛ, геоботаник, почвовед, один из основателей динамической экологии растений.

уже был ассистент, кажется Мейснер, человек твердый, немецкой железной воли, которому новый пришелец не понравился. Университетская мораль бытия всегда заключается в устранении конкурентов. Эту мораль Мейснер тотчас применил к Мережковскому. Тогда тот ашелировал к сердцу ботаников, в частности профессора Гордягина, и просил дать ему возможность работать по старой специальности. Итак, Мережковский стал снова и уже окончательно ботаником. Он был, несомненно, талантливый человек – об этом можно заключить по брату: он прекрасно знал иностранные языки и вообще получил, видимо, хорошее образование и воспитание. Поэтому он легко и быстро приготовил магистерскую диссертацию «Зоны образования эндохрома у диатомовых водорослей». Он очень умно занялся низшими растениями, ибо Гордягин и его окружение: Келлер, Янишевский и Смирнов³⁰, были специалисты по высшим, в силу чего они с большим уважением отнеслись к труду Мережковского по водорослям, и в то же время могли только очень плохо разобраться в том, что он собственно написал в этом труде. Во всяком случае Гордягин пропустил (принял) этот труд в качестве диссертации Мережковского и своим авторитетом доставил последнему законное звание магистра ботаники.

Непосредственно после этого начались художества Мережковского, он стал претендовать на профессуру и чтобы усилить свои позиции сделался активным деятелем монархического «Союза русского народа», озадачив этими двумя выступлениями не только Гордягина и его сотрудников по кафедре, но, видимо, и многих других профессоров, большинство которых были, как водится либералами. На кафедре началась гражданская война, в ходе которой Мережковский сделал ловкий тактический ход. Летом, когда все разъехались на работы в экспедиции, он внушил им очарованному декану факультета микологу Сорокину послать в Министерство от имени

факультета просьбу последнего назначить магистра Мережковского экстраординарным профессором кафедры, что Сорокин и сделал. Мережковский уже сам присовокупил к этому лестный отзыв о себе со стороны «Союза русского народа» и, кажется, губернатора. Министром просвещения был тогда известный погромщик Университетов и либеральной профессуры Кассо, и поэтому нечего удивляться, что когда осенью члены факультета, профессора съехались в Казань, они обнаружили – многие с досадой – в своей среде Мережковского, как равного коллегу – *Collegis par*. Взбучка, устроенная раздраженным факультетом своему декану уже ничего не могла изменить в законном провозглашении императором, т.е. профессором, магистра Мережковского; декан лишился в свалке только еще несколько пучков и без того редких волос. Профессор Гордягин, враг всяких ненаучных житейских потрясений, еще молодой и холостой, сбежал с боевого фронта только что открытый Саратовский Университет, забрав с собой Янишевского и оставив льву на растерзание Келлера и Смирнова. Впрочем, он знал, кого оставлял. Хотя и теснимый со всех сторон, почти изгнанный с кафедры, Келлер все же сохранил хоть по внешности нормальные отношения с Мережковским и когда на следующий год последний почему-то решил уехать на всю зиму за границу, Келлер фактически его замещал и в этом положении мы кафедру и застали.

В.И. Смирнов, человек кроткий, забился в какую-то темную комнату, всю заставленную гербарными шкапами и почти не разговаривал, ограничиваясь односложными междометиями. Б.А. Келлер был очень популярен на факультете, он был кадетом, либералом, охотно занимался со студентами, охотно делал доклады и писал свою магистерскую диссертацию «Кальджирскую долину». На кафедре у него было до десятка студентов, специализирующихся в ботанике, и он вел их студен-

³⁰ Смирнов Валентин Иванович (1879–1942) – докт. биол. наук, проф., организатор и заведующий кафедрой ботаники Иркутского гос. университета, основатель Иркутской ботанической школы. В то время он заведовал гербарием Казанского университета.

ческий кружок. Он был очень живой человек, как все немцы в России, явно стремившийся сделать карьеру, способный, но не глубокий, ярый сторонник немецкой науки и культуры. Его кумирами тогда были Варминг³¹, экологическую школу которого он популяризовал у нас, и Баур³², генетика которого, действительно образцовая книга, Келлером тогда горячо пропагандировалась – я сам по его настоянию, реферировал на кружке некоторые главы из нее, а потом, по мере изменения политической ситуации, столь же горячо порицалась.

Вольск лежит среди немецких поселков – «осонок», как их у нас называют – и в Реальном Училище у меня было много сверстников – товарищей немцев – Ринк, Шмидт, Валькер, Фишер, Рушенбах и др. Я, поэтому, хорошо знал эту публику. Тогда мы были абсолютно чужды всякого национализма, и нам никому даже в голову не приходило делать различие между русским и немцем; все мы были абсолютно на равной ноге и между собой и в глазах школьного начальства. Поэтому, я помню, товарищи, с которыми я встречался, были абсолютными патриотами Германии и нисколько не сомневались в ее победе, в поражении России, что просто и не таясь высказывали даже как будто не думая, что мне, русскому, слышать это могло быть и больно. Я тогда понял, что немцев, хотя они и живут среди нас столетия и даже почти позабыли родной язык, нельзя преодолеть, превратить в русских духом. События, последовавшие после революции, еще более укрепили меня в этом убеждении. Келлер также происходил из наших саратовских волжских колоний, его отец был врачом в Сарепте. До германской войны, в обстановке гражданского подъема, либеральной активности русской интеллигенции, и он был либералом и русским, я думаю даже искренне, и жена у него была русская. Немецкая наука была в зените, в своем высшем расцвете и мы все уже привыкли, под влияни-

ем немцев, живущих в России, считать ее первой в мире, руководящей, что казалось правдоподобным даже и при критическом подходе. Мы, однако, почти полностью пропускали достижения английской и французской науки, и уже это немецкие интеллектуальные агенты могли себе засчитывать в актив; французская или английская научная книга была редкостью в наших лабораториях и кабинетах. Келлер проводил ту же систему в сфере своего влияния. После германской войны, уже будучи профессором в Воронеже и женившись вторично на немке, он, очевидно, имел те же ясно сформировавшиеся во время войны, немецкие патриотические настроения, как и его сородичи, а мои товарищ – немцы-колонисты. Связи с зарубежными немцами он установил еще в Казани, когда на Волгу приезжала экскурсия немецких ботаников во главе с знаменитым Энглером и Келлер сопровождал его в Сарепту. Он с воодушевлением нам рассказывал, о простоте и веселости немецких ботаников, с которыми ездил. Несмотря на мое величайшее уважение к Энглеру, руководившему экскурсией, я, однако, позволяю себе думать, что эта экскурсия накануне войны, была не случайной и преследовала не только одни чистые ботанико-познавательные цели, они вероятно, выясняли и настроения колонистов.

Ко мне лично, Б.А. Келлер всегда относился двойственно, с одной стороны помогая, поощряя, согласно традиции Гордягина, с другой – немного насмешливо и с недоверием.

В более позднее время в 30-е годы, последнее отношение ко мне в нем явно преобладало – мне с ним случайно пришлось тогда встретиться, но он был уже совсем не тот Келлер, каким был в Казани, весь мир был уже не тот.

В казанский же период я получил от его советов кое-что: его книги «В области полупустыни» и «Кальджирская Долина»

³¹ Варминг Эугениус (1841–1924) – датский ботаник, эколог, миколог, альголог, микробиолог. Автор первой книги по экологии растений («Экологическая география растений», 1896).

³² Баур Эрвин (1875–1933) – немецкий ботаник и генетик. Его работы посвящены гибридам растений, получению межвидовых гибридов с позиции генетики, изучению факторов роста растений, сортам растений.

представляют интересные, талантливые и новые для России по неологической направленности, в то же время очень чисто, аккуратно сделанные монографии. Вся дальнейшая продукция Келлера качественно была уже много ниже, вплоть до полной вульгаризации и профанации науки в последний период его деятельности.

История Мережковского закончилась весной 1914 года неожиданным финалом, почти трагическим – вроде конца Дон-Жуана в драме Пушкина. Какого-то числа, точно не помню, как гром среди ясного неба, в «Русских ведомостях» появилась большая статья, целый подвал, в котором подробно и ярко рассказывалось, как «столп отечества», махровый националист, казанский профессор Мережковский уже много лет занимается растлением малолетних девочек, которых он берет к себе в дом – дом холостяка в качестве воспитанниц, якобы из добродетельной благодетельности; дотошный корреспондент передавал и свидетельства последней жертвы нравственного уродства Мережковского и ее матери, якобы уже подавшей в суд и укрываемой в Казани либеральными деятелями от мести Мережковского и его высоких покровителей. Статья произвела впечатление разорвавшейся со страшной силой бомбы, и, говорят, вечером того же дня Мережковский, спасаясь, от неизбежного уголовного преследования бежал при тайном попустительстве властей за границу, где бесследно исчез уже навсегда.

После весенних экзаменов, которые для меня были целой эпохой и жизненной гранью, по рекомендации Келлера, я уехал на лето в Пензенскую губернию для ботанических исследований и съемки, производимых по всей площади губернии Губернским земством. Эти почвенно-ботанические или как их тогда называли оценочно-статистические работы проводились большой специально сформированной организацией, руководи-

мой почвоведом Н.А. Димо³³. Их необходимость объяснялась потребностью в инвентаризации и бонитировке почв и угодий в связи с проводимой Столыпиным земельной реформой. В обследовательской организации были ученые, в первую очередь почвоведы во главе с Н.А. Димо, были геологи, в частности будущий академик А.Д. Архангельский³⁴, ботаником был И.И. Спрыгин³⁵, а я наряду с другими был его помощником-экскурсантом. Однако он быстро увидел, что я обладаю достаточными, хотя и небольшими знаниями, инициативой и любовью к бродяжничеству, исследованию и писательству, а потому снарядил мне небольшую бричку с лошастью, кучером, молодым татаринном Николаем, и благословя сердечно, отправил одного для обследования северной части губернии, которую он лично знал менее, чем остальную территорию. Так началась моя экспедиционно-исследовательская деятельность, которая и составила наряду с писанием в зимние периоды научных работ – основное содержание моей жизни, в течение теперь почти уже сорока лет. Борьба между химией и ботаникой в моей душе изменилась, по крайней мере, в отношении выбора специальности, хотя вопросы химии и физики навсегда сохранили надо мной непреодолимую власть; до последнего курса Университета я продолжал числиться на химическом отделении. Однако страсть к бродяжничеству и путешествиям была настолько сильна во мне, что вся душа моя возмущалась и протестовала, когда я думал о том, что взяв специальностью химию, я буду принужден вместо того, чтобы бродить по неизвестным странам, сидеть в лабораториях даже летом в той городской обстановке, которую я всегда с трудом переносил. Этот мотив я выставил и перед В.И. Никифоровым, когда вернулся из Пензенской экспедиции.

В продолжении двух с половиной месяцев почти без других остановок, кроме ночного

³³ Димо Николай Александрович (1873–1959) – почвовед, лауреат Ордена Ленина, награжден Золотой медалью В.В. Докучаева.

³⁴ Архангельский Андрей Дмитриевич (1879–1940) – академик АН СССР, лауреат Ленинской премии.

³⁵ Спрыгин Иван Иванович (1873–1942) – ботаник, один из основоположников природоохранного дела в России.

отдыха в каком-нибудь селе или деревне, я колесил на своей бричке по северной части губернии – Инсарскому, Саранскому и Городищенскому уездам, описывая более интересные участки дикой растительности – лесной, степной и луговой, и собирая гербарий – для познания флоры. Через Городищенский уезд я и вернулся «рабочим ходом» в Пензу, обремененный материалом, заслужив великую похвалу и одобрение со стороны моего начальника И.И. Спрыгина³⁶.

Действительно я работал с упоением, не отрываясь, и я был горд в душе, что по способности понимать явления природы, вникать в их сущность, я стою много выше других, а знания, я думал, придут потом. У меня с собой не было ни ружья, ни удочки – мне некогда было этим заниматься, да и не хотелось. Но, скитаясь по лесам и полям, я все время, даже при самой интенсивной работе был в природе, под ее очарованием, и во время переездов, сидя в бричке или идя пешком по маршруту, я мог ушиться, сколько мне хотелось, ландшафтом, игрой красок на небе, величием лесов, тишиной полей, извилами и блеском рек. В полной мере, на большой площади, я почувствовал тогда красоту и очарование нашей средне-русской природы, которую обычно считают, в лучшем случае скромной. А я хорошо помню, какой нежной, несравненной красоты были полны почти бесконечные по протяжению и чистые березовые леса Пушкинского лесничества на границе Краснослободского уезда. Я раньше, да и после нигде не видел таких чудесных березовых лесов; они кстати сказать, погибли под топором в первые годы революции когда пришлось паровозы перевести на топку дровами. Мне было тяжело слушать про это, такие леса, конечно, должны были быть заповеданы – они были уникальны и изумительно красивы. Ослепительно белые стволы берез, их веселые зеленые кроны создавали радостный ландшафт; разбросанные среди них по-

ляны были покрыты свежей травой и местами пестрели цветами. Нежные голоса мелких птичек даже ночью звенели в кронах деревьев. Недаром в этих лесах были расселены мордовские пчельники и именно в столь очарованном ландшафте мордва проводила свои языческие праздники, пляски и пенье, одевшись в национальные костюмы. Эти праздники – я на них попадал – были, несомненно, отзвуком от вечной, тысячелетней традиции, совершенно естественно притягивая в столь прекрасный ландшафт живущих здесь людей, вливая в их души радость и свежесть, впрочем подкрепленную крепким хмельным медовым напитком. Я даже не представлял, что это сладкое питье может так радикально валить с ног; после одного такого праздника, я пробыл на нем всего два часа, я уже не смог вернуться к своей бричке, к лесной сторожке, а так и проспал короткую летнюю ночь в лесу, среди белых стволов, под трели каких-то пичужек, по-видимому, пропевших всю ночь над моей головой.

С необычайной силой врезался в мою память также ландшафт лесостепи, где-то на границе Саранского и Мокшанского уездов, на открытых степных местах пересеченной знаменитым историческим валом, который в эпоху царя Алексея Михайловича был фактической границей и оплотом нашего государства с юга, со стороны степи, от степных кочевников. Вал этот местами еще хорошо сохранился, но, конечно, весь крепко зарос дернистой зеленой травой. Там и здесь по обе его стороны видны перелески, а между ними – зеленая луговая степь. Ландшафт необычайно жизнерадостен и весел. Я несколько раз к нему возвращался, и он мне все более нравился.

Когда переезжаешь из Саранского в Городищенский уезд, то попадаешь как будто в новый мир. Вместо спокойных, несколько ленивых речек Мордовии, здесь в несколько гористом ландшафте бегут быстрее журчащие,

³⁶ Позднее М.Г. Попов напишет И.И. Спрыгину о работе с участниками совместных экспедиций «под руководством нашего общего учителя, друга, если смеем так Вас называть, и человека, которого мы все уважаем больше, чем кого-либо другого в мире» (по: *Спрыгина А.И.* Иван Иванович Спрыгин (1873–1942). М.: Наука, 1982, 176 с.).

почти горного типа потоки. Лес заполняет всю страну, степных просторов и обширных полей, обычных в Саранском и Инсаранском уездах, здесь нет. Почва крутых склонов камениста; ни она, ни крутой рельеф, ни обилие леса не благоприятствуют земледелию. Немногочисленные поселки имеют промышленный характер – здесь были и стекольные и суконные фабрики, с рабочим, а не крестьянским населением, а леса местами стояли еще почти девственными.

На топографической карте, которой я пользовался, почвовед, проезжавший с этой картой раньше меня, сделал около с. Нижнего Кафта отметку: «девственный лес». Я его, конечно, осмотрел. Дубы и липы, действительно в нем были непомерной толщины и большой высоты, но внутри леса ждало разочарование: там, очевидно, пасли скот и поэтому никакой девственности, с точки зрения геоботаника, лес не имел – подлесок и естественный травяной покров в нем были уничтожены. И я сам здесь потерял девственность. Одна молодая, веселая и здоровая деревенская девушка открыла мне душу, сердце и тело, и мы несколько ночей наслаждались друг другом, с жаром, который может иметь только первая сила, в воздухе лесов и травы, в безмятежной жизни деревни. И я позже два дела круговые петли маршрутов, чтобы иметь возможность через 6-7 дней вернуться в это место и получить в нем то, что я сам возвращал с лихвой. Вероятно, И.И. Спрыгин сильно удивлялся этим странным извивам маршрутов, когда потом просматривал мой путевой дневник, вряд ли, однако, в скрещении петель он видел, как я, смеющиеся серые глаза, а тем более нечто, чему они являлись только потешным и приятным дополнением.

Не суди строго, читатель, наш жизнь – дорога, а отдых – караван-сарай! Такова была наша жизнь, наша профессия.

Совершенно изумительными были в те времена засурские боры около деревни Иваньрыса³⁷. На огромном пространстве этих бор росли и составляли бор, такие огромные

и такой непомерной толщины сосны, каких теперь вряд ли кто увидит. Это был лес великанов, лесных гигантов, которым нечто подобное представляют разне «мамонтные» деревья Калифорнии. Ничего более величественного я не видел. Кроны сосен были подняты над землей так высоко, что до них трудно было даже добросить камнем. Когда к вечеру мы уже почти выезжали на край этих боров, к Суру, начался грозовой шторм, и лес приобрел страшный вид. Из черно-серого неба сверкали злые короткие молнии, гигантские стволы дико со скрипом раскачивались, а кроны так зловеще и громко шумели под яростными порывами шторма, что мы застигнутые бурей на лесной дороге – наша бричка вместе с нами казалась козьявкой в гигантском лесу, у нас глубоко внутри леса даже не чувствовалось ветра, бушевавшего где-то высоко над нашими головами – стали думать, что пришел наш последний час: стоило только какому-нибудь гиганту рухнуть, и под ним погибли бы двадцать тысяч козьявок – бричек, как наша. С превеликим трудом, среди дикой величественной панорамы гигантских сосен, бьющихся как бы в агонии в страшных порывах шторма, в блеске молний и прохватывающегося пронзительного ливня мы кое-как уже в полной тьме, выехали на Суру, к перевозу, и переправившись на ту сторону, нашли спасение, тепло и отдых в селе Лунино – знаменитом центре пензенского луководства. Под свежим впечатлением я тогда же описал засурские боры, и кажется, так хорошо, что И.И. Спрыгин, по его собственным словам, часто перечитывал мое описание «как поэму».

Я вернулся в Казань осенью, в начале занятий. Материально мое положение стало несравненно лучше, ибо я, во-первых, получил за отличную учебу прошлого года стипендию, а помимо того, подработал некоторую сумму за летнюю экспедиционную работу. Как сейчас помню, с каким странным чувством, удивленным и признаюсь радостным, я держал в руках, первый раз в жизни, полученную мной

³⁷ В настоящее время с. Иваньрыс в Лунинском районе Пензенской области.

при расчете в Пензе сторублевою ассигнацию: никогда я еще не имел такой крупной суммы в своем распоряжении. Первые радости – самые большие радости. Они скоро становятся обыкновенными и перестают быть радостями. Человек самое странное существо; он постоянно чего-нибудь добивается к чему-то стремится, иногда с бешенством, с упоением или стиснув зубы, страдая, а достигнув цели стремления, вскоре начинает чувствовать ненужность полученного. Для человека более интересна цель, стремление к ней, борьба за свой идеал, чем самая цель, сам идеал. Вполне идеально только то, чего нельзя достигнуть – нечто духовное, не осуществимое реально; поэтому наверно упорно живет в сознании человечества идея о вечной жизни, вечной молодости и вечной любви. И не случайно, не ложно, в молодости мы клянемся в вечной любви: бессознательно мы передаем врожденное в человеческом племени, как целом, стремление к недостижимому, к идеалу и не умаляет ценности этой клятвы то, что обычно мы ее не исполняем, что в реальности мы оказываемся слабыми и жалкими, а жизнь слишком жесткой, чтобы мы были в состоянии выдержать свои обещания.

Реально – человек жалкое существо, ничтожная щепка, крутимая и несомая в бурных волнах жизненного океана, но в душе каждого из нас, людей человеческого племени, есть крупица Прометеева огня, то большая, то меньшая в отдельной личности, но в сумме в человечестве поразительно большая. «Если бы завтра наше солнце нашей земли ее путь осветить позабыло, завтра бы мир осветила мысль безумца какого-нибудь». Сознание, что в человечестве и в немногих личностях есть эта сила прометеева огня, мирит нас с обычным рядовым обывателем, имя которому легион.

Я плохо работал в эту зиму по линии университетских занятий. То ли от необычных

впечатлений от экспедиционной работы, то ли от первой разделенной любви, пусть кратковременной и случайной, мои духовные мускулы как-то расслабли и я не мог ни сосредоточиться, ни заниматься усердно. Неясные стремления, импульсивная неудовлетворенность сковали меня и сделали бессильным, и даже влияние В.И. Никифорова мало помогло, быть может потому, что сам был в сходном состоянии. А вдобавок среди зимы, кажется в январе, ко мне пришло от той же организации Н.А. Димо и И.И. Спрыгина предложение ранней весной выехать в экспедицию в Хиву, в низовья Аму-Дарьи³⁸. Я уже не помню, какие внутренние переживания были у меня в связи с этим – это почему-то совершенно выпало из моей памяти, но остается фактом, что я цепко ухватился за это предложение, но сколько помню, в середине февраля, с разрешения университетского начальства – не знаю, что оно думало по этому поводу, а быть может ничего не думало – я выехал в Ташкент. Для меня во всяком случае это был великий перелом в жизни, ибо величавая природа Средней Азии, я и теперь скажу, более величавая, чем где-либо в ином месте нашей Родины, а для натуралиста представляющая совершенно исключительный интерес; для личности темпераментной, способной растворяться в новой, необычайной природе, покоряющая, очаровывающая – захватила меня целиком, душой и телом, и не выпускала из своих жарких великих объятий 30 лет. И она же оторвала меня от Казани, куда я уже больше не вернулся, а перекинула в С.Петербургский Университет, ближе к Ботаническому саду, в котором только и можно было обрабатывать ботанические материалы из Туркестана. Казань, не давала, мне казалось, для этого возможностей.

Мимолетны были впечатления от Ташкента: тенистый Кауфманский сквер³⁹ в центре города, с его знаменитыми в виде гигантских

³⁸ Это произошло в 1913 г., когда И.И. Спрыгин возглавил ботанические исследования Отдела земельных улучшений Министерства земледелия и привлек к поездкам в Туркменистан своих молодых сотрудников – М.Г. Попова, Е.П. Коровина, М.Н. Пронзину, а с 1914 г. М.В. Культиасова (по: *Спрыгина А.И.* Иван Иванович Спрыгин (1873–1942). М.: Наука, 1982, 176 с.).

³⁹ В настоящее время Сквер Амира Тимура.

метел, позднее погибшими и вырубленными карагачами; среди них, в центре сквера «чугунный Кауфман и трубач», потом поверженные на землю и долго валявшиеся там – эмблема падшего величия; зеленый газон под карагачами и помню, поразившие тогда, особе, не русские, воробьи, прыгавшие по траве газонов. Я не буду говорить об арбах с гигантскими колесами, о снующих толпах «сарттов» в пестрых халатах, о стройных тополях, создающих высокие зеленые стены на улицах. Ташкент не произвел на меня в то время сильного впечатления. Теплая любовь к этому городу зажглась в моем сердце, чтобы согреть его до сих пор, только позднее, в 20-х годах, когда я стал жить в нем как постоянный житель. Как чудесно раннее утро весной в Ташкенте: в еще прохладном воздухе, от только что политых улиц пахнет непередаваемыми тонкими запахами влажной пыли. На глиняных дувалах и крышах как алые огни горят в утренних лучах восходящего солнца маки; они кажутся горячими пламенеющими: лучи низкого солнца пронизывают их насквозь. Тишина, люди еще спят. В темных кронах высоких деревьев – Ташкент в 20-х годах был более похож на огромный сад, чем на город – нежно и упоенно воркуют египетские горлинки, радостно приветствуя прекрасное утреннее солнце. Лишь кое-где слышен грохот колес арбы на уличной мостовой. Салар быстро и как-то таинственно несет свои мутные воды вдалеку. И чуть позднее начинается людское оживление. Потягиваясь от сна, узбеки-торговцы и чанхайщики в белых рубахах и белых штанах, с тюбетейками на голове, начинают открывать свои лавчонки и чайханы. Сотни разносчиков, торговцев цветами вливаются в город с огромными подносами на головах – на подносах горы красных пышных тюльпанов; движение арб и экипажей усиливается, пыль густо повисает в воздухе, маки осыпают свои лепестки, а горлинки замолкают. Теперь 8-9 часов и люди, проснувшись, овладевают городом.

Чудесный, милый старый Ташкент, в виде сладкого сна ты грезилась мне, и я отдаю себе отчет с печалью, что никто никогда больше, в том числе и я не увидят тебя таким, каким ты был раньше, желанным и теплым, как возлюбленная, и также прекрасным как она. Широкие асфальтовые шоссе-проспекты пересекли тебя теперь, большие дома съели твои сады, и горлинки улетели прочь, испуганные шумом автомобилей. А где теперь старый город и мечеть Шейхактаура, где когда-то ночами в уразу мы гуляли в густой толпе, в свете тысяч фонарей и свеч, зажженных по случаю ночных празднований, среди дикой какофонии всевозможной музыки веселых шумов и голосов! И где Урда, на границе Старого и Нового города, в которой мы провели столько приятных часов? В углу между Саларом и Боссур когда на последней еще не было плотин и она свободно несла свои воды в узком каньоне в 5-6 километрах от центра города, были такие прекрасные сады, виноградники в арочных галереях и обширные плантации земляники, что ходить туда на прогулку было почти все равно, что попадать в преддверие рая. Казалось, что гурии скользили там между цветущими яблонями и нежно розовыми кустами персиков, над белыми полями земляники.

Через несколько дней мы были уже в Чарджуе⁴⁰, на Аму-Дарье. И вот мы плывем на 2-х лодках вниз по этой великой реке, к ее низовьям. Лодки были солидно сделанные, но неуклюжие и тяжелые, наподобие наших старых волжских лодок. Лоцманами, вожатыми, были у нас два уральских казака, из тех ссыльных, не служивых, которых царское правительство, кажется, за раскол лишило воинского казачьего звания и переселило в низовья Аму-Дарьи. Но они все же еще носили красные лампасы на штанах, и их основным занятием были охота, рыболовство и лоцманство. Реку они, конечно, знали прекрасно. А Аму-Дарья очень серьезная река и требует осторожности; течение в ней быстрое, фарватер не постоянен, берега непрерывно подмы-

⁴⁰ Чарджуй – в настоящее время Туркменабад, второй по величине город Туркмении, расположенный на левом берегу Аму-Дарьи в 470 км к северо-востоку от Ашхабада.

ваются то там, то здесь с грохотом обрушиваются в воду. Течение настолько быстро, что если тяжелая груженная лодка сядет на мель и повернется боком к течению, ее может перевернуть. Также нельзя пристать на ночь к берегу где угодно; берег может быть смыт, может обрушиться и лодка будет унесена быстрым течением. Парходам там передвигаться трудно и не надежно. По течению, вниз по реке лучше плыть лодкой. Так мы и плыли в последние мартовские дни 1913 года. Через 3-4 дня после отплытия из Чарджуя мы оказались уже на величавой широкой реке в глубине великой пустыни. Быстро, быстро, деловито, не теряя секунды на постороннее, пролетели над нашими головами, обгоняя нас, серые чайки. Весна только что начиналась и тугаи (прибрежные леса) стояли почти оцепенелыми, в зимнем виде, без зеленых листьев. Но вот однажды вечером уже в темноте, когда мы были на берегу, надвинулись на небо темные тучи, молнии осветили струящуюся поверхность реки и пошел теплый, настоящий весенний ливень. Позади тугая, где мы раскинули палатки, в свете молний можно было видеть желтоватые возвышенности – каменные занесенные песком горы, окаймляющие долину. После ливня, воздух стал таким нежным, теплым и так хорошо пахло чем-то, а река и горы над ней казались столь величественными в своем диком уединении, что хотелось встать на колени перед рекой и произнести, к ней обращаясь, радостную молитву благодарности – за бурю и теплый дождь. В ночной тишине из пустыни доносились смягченные дальностью расстояния жалобные рыдания шакалов – как будто плакал ребенок. А на следующий день, под теплыми лучами солнца, деревья тугаев зазеленели как бы по волшебству, было поразительное столь быстрое действие одного единственного тепло-го ливня, только в пустыне можно наблюдать такие чудесные превращения.

Итак, мы плыли днями среди великой молчаливой песчаной пустыни, розовые пески которой, движимые ветрами, местами как ва-

лы моря вкатывались из глубины пустыни на гребни прибрежных останцовых возвышенностей и, обессиленные, сползали к реке по крутым склонам возвышенностей как ровные мягкие скатерти. Узкие полосы тугаев, прибрежных лесов из Туранги⁴¹, джиды⁴² и колючих кустарников, тянулись по плоским, невысоким речным террасам, сложенным глинистыми наносами самой реки. Кое-где из кустарников поднимались высокие стебли гигантского злака, нюнка (*Erianthus purpurascens*), на громадных дерновинах которого можно было сидеть как на стуле; местами были заросли тростника, но травы, как у нас на лугах – мягкого зеленого дерна, нет в этих пустынных лесах. Разливы реки слишком велики, капризы ее слишком необузданны, а потому почва тугаев слишком непостоянна и часто осолонена, чтобы на ней могла расти нежная злаковая трава. Здесь может ужиться только большая, в один два, даже три человеческих роста и жесткая трава – камыш, нюнк, рогоз и гигантский вейник.

В тугаях мы останавливались на ночевки. В них жили кабаны, местами множество фазанов и бегали шакалы. Однажды ночью наш лоцман-уралец вдруг почувствовал во сне, что кто-то тащит его за ногу. Он спал в сапогах, чтобы быть готовым ночью вскочить и подбежать к лодкам, если быстрая прибывь воды или капризный поворот течения будут угрожать сорвать лодки с приколом и частью берега. Ночью нога его в сапоге высунулась случайно из палатки, где он спал, мимо пробежала шакалка. Запах и вкус смазанного салом сапога ей понравился и недолго думая, не очень беспокоясь, что сапог на живой ноге, она схватила его зубами и пыталась утащить. Евтихий проснулся, немного даже испугался потом разглядел в темноте шакала и принялся проклинать по-русски и по-узбекски, весь несчастный род этих животных. Утром мы много смеялись над этим происшествием.

Ранними утрами, а иногда вечерами, я имел возможность подниматься из тугаев на

⁴¹ Туранга евфратская, тополь закавказский (*Populus euphratica* Olivier).

⁴² Лох (*Elaeagnus*), род деревьев или кустарников сем. Лоховых.

каменистые возвышенности, обрамляющие долину реки и смотреть в них вдаль на таинственную песчаную пустыню. Безгранично и молчаливо простирались ее волнистые дали, розовеющие на утренней и особенно вечерней заре. Ночью сверкающее звездами небо, прозрачное и светлое, каким оно бывает только в пустыне, опрокидывало над ней свой чудесный шатер. Посмотришь сверху на реку – за темной полоской тугая видна сверкающая поверхность гигантской реки; противоположного берега не видно. Из тугаев ветер иногда приносит теплые волны очаровательно-сладкого аромата цветущей джиды; эти волны как бы охватывают тебя, их чувствуешь почти физическим осязанием, не только обонянием – так густ и силен запах, даже на расстоянии километра. Он значительно сильнее и слаще запаха цветущих лип. Были ночи, впрочем уже позднее, в апреле, когда я караваном, один с узбеком-проводником, пробирался через песчаную пустыню к Нукусу, когда в тугаях пели одновременно сотни соловьев, перебивая друг друга. А пустыня и горы – останцы высоко над рекой слушали, молча и загадочно, их песни. Эти останцы, часто почти правильной формы осеченного широкого конуса, мне напоминали сфинксов, лежащих в горячем песке пустыни, а Аму-Дарья – сказочный Нил. Душа моя погрузилась в жизнь пустыни, слилась с ней, и до настоящего времени я не знаю ничего более прекрасного и величественного, чем пустыня ночью или на утренней и вечерней заре. Потом я долго, годами, изучал жизнь пустыни, так что теперь я говорю сам, про себя, несколько фигурно: «Я вышел из песчаной пустыни и смотрю глазами сфинксов на людей и их дела, и они мне кажутся очень маленькими по сравнению с великой пустыней и небом, ночью покрывающим ее».

Так и Иоканнаан ушел в пустыню, питаясь диким медом и акридами, но голос его доносился оттуда, как рыканье льва. И оттуда он прорычал на весь мир: «А после меня придет тот, у которого я недостойн даже ремня на сандалии его». Действительно потом пришел тот, кто единственный посмел и мог сказать:

я – омега и альфа (т.е. вся мудрость человечества), я первый и я последний (ибо жизнь человечества была неполноценной до него и будет таковой, если его забудут), я – начало и – я – конец (т.е. он дал первый человечеству его величайшую этику и уже ничего не будет более великого, чем эта этика).

С пустыней, вероятно, первично связаны все великие религиозные движения человечества: в пустыне родились и христианство и ислам. Но христианство, родившись в пустыне, ушло на запад и там слилось с великими культурами Эллады и Рима, а ислам так и остался в пустыне, религией пустынных племен; поэтому первое обогатилось в своем содержании, впитав в себя западные науки и искусства, всю тонкость и сложность культуры, а ислам остался столь же простым, каким был при своем рождении. Кажется, в старом Эрмитаже я видел картину, от которой не мог отвести глаз: в ней весь ислам и его простота. Мечеть на фоне пустыни – больше ничего. Величественный портал мечети с характерной арабской аркой. На каменной низкой террасе, находящейся как всегда, перед порталом – 2-3 коленопреклоненных фигуры арабов в белых бурнусах: очевидно, вечерний намаз. Загорелые лица спокойно сосредоточены. Кругом обширнейшая пустыня, ровная, каменисто-песчаная, розовеющая от света заходящего солнца. Ни деревьев, ни кустов – ничего, даже не дано никакого рельефа; ни холма, ни горки – только голая розовая пустыня, горизонт и чистое небо без облачка, но оранжевое на закате.

Мне кажется, что художник знал пустыню и понял ее. Не помню его фамилию, во всяком случае это был ни Верещагин, ни Фромантен, хотя оба могли бы написать такую картину. В ней в какой-то мере, возможной для картины, отразилось все величие и простота пустыни и ислам, неизбежное его рождение в человеческом духе.

Переправившись у Нукуса через Аму-Дарью, я присоединился к своей экспедиции в Ходжейли и оттуда мы пошли к Куня-Ургенту и далее по пустынным такырам к Сары-Камышской впадине. Такыр – особый вид

пустыни: гладкая, ровная, жесткая как камень и всегда почти голая пустыня на аллювиальной, нанесенной рекой глинистой почве. Подкова лошади почти не оставляет следа на такырах, они идеальные ипподромы, где лошадь может скакать без дороги десятки километров. Они были совершенно пусты и безжизненны, но когда-то проходил здесь рукав Аму-Дарьи и еще Геродот сообщал, что Оксус (Аму-Дарья) впадает в Гирканское (Каспийское) море. На севере, над ровными такырами белой отвесной стеной поднимается чинк Усть-Урта, обрыв третичного плато, лежащего на 100 метров выше такыров. Меня неудержимо привлекал этот обрыв: на нем росли замечательные растения – почти колючий гулявник с крупными желтыми цветками, растение, которое мне открыло часть прошлых тайн, прошлой истории пустыни. Величественная брошенная крепость хивинских ханов Деу-Кискен-Кала, возвышаясь прямо на краю Усть-Уртского плато у самого обрыва чинка; очевидно, она была поставлена для защиты с севера, со стороны русских, но как-то случилось, что вода совсем перестала идти из Аму-Дарьи по такырам на запад, и Деу-Кискен-Кала, как и вся такырная равнина под ней была оставлена людьми, она была настолько пуста, что за месяц путешествия по ней мы встретили, и уже очень удивились что встретили, единственного человека, бедного киргиза с женой, которые для чего-то пересекали такыры пробираясь пешком на Усть-Урт. Да еще раз, ранним утром к нам подскочила на чудесных туркменских скакунах группа Номудов просить написать русскому губернатору жалобу на хивинского хана, за обиды и притеснения, которые он чинил туркменскому населению. На следующий год в них разгорелась гражданская война, туркмены взяли штурмом и разграбили столицу хана, Хиву; сам хан бежал через Аму-Дарью в русские пределы, и русскому губернатору пришлось посылать войска на ту сторону, чтобы защитить уже хана и его народ от туркмен, а не туркмен от хана.

Я не был зоологом, мне некогда было заниматься этой отраслью естественной исто-

рии, но я всегда очень любил животных и никогда не отказывал им в разуме, в понимании вещей и событий, как это делают многие, даже зоологи. Я никогда не ставил человека много выше животных, и мне всегда казалось нелепой претензия рядового человечества, обывателей, считать себя «царем природы», пупом вселенной. Я любил наблюдать животных, особенно птиц, и мне при моих скитаниях приходилось встречаться с ними нередко и видеть их в массах. Такие уголки природы, где было много животной жизни, мне казались особенно очаровательными. Так и в этой поездке, меня поразила и очаровала песчаная пустыня, окружающая озеро Итемес недалеко от Нукуса. Бесчисленное количество водяной и болотной птицы собиралось на пролетах на лишенных человеческой жизни, безлюдных, и потому спокойных берегах этого озера. Гуси стаями полоскались в мелкой прибрежной воде и не только не улетали, когда я подходил вдоль самого уреза воды, но спокойно вылезали из воды и отходили на несколько десятков шагов в сторону на песок, чтобы дать мне пройти, а потом снова спускались к воде. Сотни куликов бежали по всем направлениям в мелкой воде и прибрежной грязи, в том числе длинноклювые кулики – сороки, которых я видел впервые, и обращали на меня мало внимания, как будто я был один из них. Я, конечно, даже не попытался нарушить эту идиллию и хотя бы для шутки испугать доверчивую птицу. Она, очевидно, была очень утомлена перелетом и голодом, а также сразу поняла, что я для нее безопасен.

Однажды на Аму-Дарье, спускаясь на лодках, мы спугнули с песчаной отмели серую цаплю. Едва она успела подняться немного вверх, как со скалистого обрыва, ограничивающего долину реки, сорвался беркут и стремительно направился к цапле. Она, быстро и круто усиленно махая крыльями, стала подниматься кверху, а беркут спирально поднимался за ней, все время сужая, сжимая обороты спирали. Взмахи крыльев цапли все учащались, но беркут все ближе подвигался к ней, и цапля чувствовала, что спираль полета беркута становится для нее мертвой петлей.

Они были уже очень высоко в небе, так что мне трудно было следить за их смертельной борьбой. Но цапля вдруг сложила крылья и стала падать с высоты по отвесу, как камень. Беркут, не ожидавший такого хода со стороны цапли, моментально изменил, однако, свою спираль поднятия на спираль спуска и, усиленно взмахивая крыльями, попытался перехватить цаплю на падении, но конечно не смог успеть за падающим телом. Над самой водой цапля распустила крылья и села у той же отмели, с которой спугнули ее, в воду, а когда беркут почти тотчас оказался над ней, она встретила его как копьём, своим длинным клювом. Беркут ничего не мог с ней сделать, и очевидно, разочарованный, снова сел на свою скалу. Наши лошади уже спустились низко, и мы не увидели, чем закончилась борьба беркута и цапли. Но во всяком случае, описанная сцена ясно показала, что даже цапля – не слишком умная птица – рассчитывает воздушные эволюции также быстро и точно, как самый искусный человеческий пилот, и знает законы свободного пикирования не хуже, чем он. Даже уже почти находясь в когтях смерти, в агонии, она нашла наилучший путь к спасению.

Человечество много потеряло в богатстве своей духовной жизни, когда бессознательно уничтожало богатый мир животных, среди которого само когда-то и размножилось. Книга джунглей Киплинга – не сказка, а гениальное прозорливое воспроизведение того, что было на утренней заре человечества, когда его еще было мало, а зверя много. Тогда человек действительно знал язык зверей – медведя Балубу и пантеры Багиры и понимал крик мудрого коршуна Чилия и болтовню обезьян. Он был просто одним из них, живых существ населявших землю, и смотрел на остальных не только как на добычу и пищу, но часто как на друзей, во всяком случае сожителей, у которых можно было кое-чему научиться.

Мне выпало счастье видеть места, где зверь еще господствовал. Однажды, в 1930 году, мне нужно было посетить ущелье Терешек на самой советско-афганской границе.

Офицеры пограничной охраны на посту Кара-Чоп долго отговаривали меня от этой поездки. С 1917 года граница от Кара-Чопа до Кашак-Рабата не охранялась, разбойничье афганское племя Хазары своими набегами отгоняло туркмен-кочевников на 150 километров вглубь нашей территории, так что участок границы на 100 километров вдоль нее и на 150 вглубь оказался совершенно безлюдным. С винтовками на седлах и нагруженные обоями патронов настолько, что трудно было слезть с седла и, особенно, подняться на него, мы все же въехали в этот район. Мы могли стрелять только в случае нападения на нас хазарийцев, не для охоты: выстрелы как раз могли привести на нас шайку разбойных афганцев. На ночевки мы останавливались до захода солнца, разжигали костры до наступления темного времени и еще засветло гасили их. Ночью два человека стояли на карауле. Конечно, мы плутали в безлюдье, забирались и на афганскую территорию, но все же благополучно добрались до Терешека. Наш путь шел по холмистой стране предгорий Паропамиза. Это была полупустыня, с высокой, до колен, но уже давно высохшей от засухи весенней травой. Повсюду были разбросаны рощицы и перелески фисташковых деревьев. Скудные роднички были редки. В общем природа не только не была роскошна, но даже прямо скудновата. И тем не менее вся местность была густо заселена зверем. Днем не было часа, чтобы перед нашими глазами не виднелись стада или группы антилоп – джейранов, мирно пасущихся на склонах холмов. Иногда выбегали небольшие группы желтых муфлонов – диких баранов. Кабанов было множество: бывало, что они поднимались днем прямо из-под ног лошадей и, отбежав сотню метров, опять ложились в траву; ночью они отпугивали от родников наших лошадей и верблюдов, так что приходилось их отгонять камнями. Вечером, когда мы приехали на Терешек, барс не хотел нас пустить к роднику, и страшно рычал, когда мои люди туда приближались. Он явно был возмущен, что какие-то нахалы нарушили его право на родник, который он привык считать своим. Од-

ним словом, в этой безлюдной местности зверя по числу голов было больше, чем когда-то людей; и он размножился столь сильно за каких-нибудь 15 лет. Когда я раньше читал путешествия Пржевальского, его описания Тибета и бесчисленных стад диких животных на нем, мне казалось, что это восторженные преувеличения энтузиаста-путешественника, как может быть так много животной жизни на суровом и бедном Тибетском плоскогорье, думал, я, когда даже в благословенных долинах Грузии, в райских ореховых лесах Ферганы его мало. Только повидав Терешек, я понял, что в самых скудных местностях будет много зверя, если человек его не тревожит. Здесь играет роль не только прямое избиение. Еще большее значение имеет для зверя психологический покой, уверенность в безопасности, тогда он здоров, легко жиреет, легко переносит непогоду и охотно размножается. Если же человек непрерывно нарушает его покой, особенно выстрелами, охотой, то даже в самых чудных природных условиях зверь будет себя чувствовать нервным, он легко поддается эпизоотиям, совсем перестает размножаться. Нетрудно его понять. Какому солдату на фронте, под ураганным огнем немецкой артиллерии захотелось бы устраивать семейный очаг, заводить детей; каждый кто был на фронте, знает, какая нервная напряженность охватывает все существо человека, удел которого каждую минуту смотреть в глаза смерти; как почти неудержимо, по инстинкту сохранения жизни, хочется уйти в тыл, в безопасность, бежать с фронта, вопреки рассудку и чести, которые требуют остаться. У зверя нет этого категорического императива, который ему предписывал бы остаться: он прекрасно знает, что он ничего не может противопоставить ужасным орудиям человека, которые тот одинаково направляет и против себе подобных, и против зверей. Объятый ужасом ежеминутно угрожающей смерти, зверь с мутными глазами мечется в беспокойстве, спит нервным беспокойным сном, теряет способность сопротивляться болезням, способность спокойно питаться и исчезает – просто как будто тает. Человек в своем

безумии разрушает то, что было основой его физического и нравственного здоровья – через зверя, своего сожителя, общаться с природой. Впрочем это не безумие, это скорее просто бездумие, простая неразумность, которая столь свойственная рядовому человеку. Между тем, неизбежно наступит время, когда он сам содрогнется, увидев мир опустошенным – леса порубленными, степи распаханными, зверя и птиц уничтоженными. Вот тогда «царь земли», он почувствует тоску и пустоту одиночества и начнет лихорадочно восстанавливать леса, разводить луга, покрытые дикими цветами, населять природу зверями и птицами. В таком случае, не лучше ли уже теперь принять меры к сохранению этих ценностей, столь же больших, как наши музеи – картины и скульптуры, библиотеки, но более живее чем они. Принимаемые меры кажутся явно недостаточными. Почему же не запретить всякому охоту на птицу и зверя, особенно, так называемую, любительскую; неужели она является в какой-то мере необходимой – это уничтожение прекрасных живых существ для потехи, для развлечения. Я не могу поверить, что нельзя было воспитать человечество в обратном направлении – в любви к животному, к природе, в отражении к истреблению, к гибели незащитных и безвредных существ, которые виноваты лишь в том, что они слабы.

В конце мая я вернулся из хивинской поездки в Москву и тотчас получил предписание выехать в Черниговскую губернию, где производились такие же земские оценочно-статистические работы, в том числе и почвенно-ботанические, как в прошлом году в Пензенской. Снова я оказался в Европе, в России, правда уже наполовину украинской. Сперва я колесил на бричке по Конотопскому уезду и мне он не понравился – он был очень густо заселен, люден; земли почти все были распаханы, а леса, островные в этом лесостепном углу, повырблены; потом я пересек с юга и на север всю губернию, через Стародубск и Новгород-Северск добрался до Суража и опять начал – уже на парной коляске, для ускорения работы, осматривать в

сплошной съемке Суражской и Мглинской уезды, самые северные в этой губернии. Суражской уезд, более дикий, с характером Полесья, с еще сохранившимися лесами по р. Ипути, с бесчисленными блюдцами-озерками на водоразделах, наполовину белорусский по населению, мне показался приятным. Я с удовольствием ездил по нему. Но все же даже по сравнению с Пензенской губернией, я не говорю уже о пустынях на Аму-Дарье, Черниговская губерния в целом производила с точки зрения природы жалкое впечатление⁴³. По существу, природы там уже не было. Лесные массивы – некогда, по-видимому, дремучие леса, полные дичи, бобров, обиталище туров, представляли в мое время жалкие остатки. Население было густое и привычное к экономической деятельности, к торговле: губерния в большом масштабе экспортировала лес, домашнюю птицу, и в то же время жила бедно. Самое большое впечатление произвела здесь на меня не природа, а человеческая жизнь.

Самой характерной чертой ее, по крайней мере для меня, было глубокое проникновение евреев в гущу местного населения; губерния лежала в пределах так называемой черты оседлости, где евреям разрешалось жить, где угодно, в городах, деревнях и селах, и заниматься чем им угодно. В каждой скольконибудь значительной деревушке жила хоть одна еврейская семья, обычно державшая лавку и ссужавшая деньги в долг крестьянскому населению. Мне пришлось близко соприкоснуться с этими еврейскими семьями; они жили в хороших чистых домиках, обычно с чистыми окнами, на которых стояли цветы, с изящными занавесочками на окнах. Кроме как у них, по существу, негде и было ночевать. Крестьяне жили так бедно, а их избы были столь неудобными, грязными, переполнены насекомыми, что ночевка в них была чистым мучением. Поэтому, как только вечером мы въезжали на ночевку в деревню, мы тотчас

направлялись к еврейскому домику, прося пустить нас на ночь. Меня поражало то, что ни в одном случае нам не было отказа, причем, понятно, что с нашей стороны не было ни угроз, ни назойливости, ни обещаний хорошо платить. Мне казалось, что эти еврейские семьи так скучали в своих деревенских захолустьях среди неподходящего для них и довольно враждебного крестьянского населения, что они с радостью принимали интеллигентного человека, надеясь услышать от него что-либо новое, интересное, просто, чтобы хоть немного развлечься. Даже в пятницу перед шабашем они впускали меня ночевать. Меня поразила чистота, аккуратность, уже их домашней обстановки, традиционность обрядов, религиозного быта. Одеты они были хорошо, особенно девушки, многие из которых были красивы, и в их поведении не было ничего неприятного – ни недоверчивости, ни заискивания: оно было просто и радушно, и они были вполне равнодушны к деньгам, к оплате услуг. Я немного знал светливое городское еврейство, алчное и неприветливое, затаенное враждебное, и не мог удивиться, почему черниговские деревенские евреи совершенно не походили на своих городских собратьев, как будто принадлежали к другому племени. Они вообще казались западно-европейскими культурными поселенцами, совершенно чуждыми стороне, в которой они жили, по уровню культуры. Больше всего они походили на поляков, и, может, быть, они действительно были выходцами из Польши, из которой вынесли и культурность, и формы жизни. Во всяком случае, несмотря на всю парадоксальность этого положения, встречи с деревенскими евреями были, кажется единственным светлым воспоминанием в моей черниговской эпопее.

Осенью мне пришлось снова ехать в Туркестан – изучать солончаки и их растительность в нескольких пунктах вдоль железной дороги от Ташкента до Бухары. Даже для

⁴³ По свидетельству Л.И. Спрыгиной, дочери И.И. Спрыгина, природа Черниговской губернии не слишком увлекла коллектив работавших там ботаников, это относится как к руководителю экспедиции И.И. Спрыгину, так и к его сотрудникам – М.Г. Попову, Е.П. Коровину, М.В. Культиасову (по: *Спрыгина Л.И.* Иван Иванович Спрыгин (1873–1942). М.: Наука, 1982, 176 с.).

меня, бродяги, это было немного чрезмерно, я, кажется, сделал в этот год 40000 километров пути. Но Н.А. Димо, который поручил мне эти исследования, был так любезен и мил, передавая мне на даче в Москве поручение и деньги на поездку, что я не имел сил отказаться. Кажется я только заехал в Петербург, оформил перевод в тамошний Университет и немедленно выехал в Ташкент. Жгучий август месяц с пылающим раскаленным солнцем на безоблачном пыльном небе, белые скатерти солончаков, которые слепили глаза среди желтых сожженных пустынь, темно-зеленые оазисы где-то вдалеке от меня, волшебное одиночество в пустыне, когда ночью засыпашь прямо на земле, около повозки, под спокойными взорами звезд и слышишь вдали вой волчьей стаи, вышедшей на охоту, или крики шакалов и ночных птиц. В такой обстановке я провел несколько недель, грязный, пыльный, иссушенный солнцем и сухими ветрами, проеденный соленой пылью торов, но счастливый и довольный, погруженный в мечту и нелепую, с точки зрения европейского ботаники, своеобразнейшую флору пустынных солончаков. Позднее, вместе с Н.А. Димо мы много занимались этой солончаковой растительностью. Н.А. Димо известный почвовед, ныне академик сельскохозяйственной академии им. Ленина (ВАСХНИЛ) был многолетним моим начальником и до известной степени руководителем; до 1917 года я работал временным ботаником в его экспедициях, а с 1920 по 1927 гг. постоянным сотрудником в его институте Почвоведения и Геоботаники при Ташкентском Государственном Университете. За 15 лет совместной работы я, конечно, мог узнать его близко. Это был в высшей степени интересный человеческий образец. Он был молдаванин по национальности, по-видимому, из простой крестьянской, молдаванской семьи, вероятно, зажиточной. Его мать, которая жила с ним в Ташкенте, была совсем простая, малограмотная женщина и даже плохо знала по-русски; он с ней обычно говорил по-молдавски. Образование его, конечно русское и, я думаю, он сам считал себя русским. Почвоведческий уклон, специализа-

цию, он получил в Ново-Александровском (около Люблина) сельскохозяйственном институте, где его учителем был крупнейший почвовед Сибирцев, ученик Докучаева. Таким образом, он принадлежал к самой крупной и вполне самобытной русской школе почвоведов, традиции которой он сохранил.

Я не видел человека более блестящего, чем он, по природным задаткам. Только южане могут производить такое впечатление. Я всегда сравнивал его в уме с Наполеоном – он и был маленьким Наполеоном. Чрезвычайно красивым тонкой и яркой южной красотой, в молодости с румянцем на бледной коже, с огромными черными глазами, полными жизни ...

....В 1919 году в Москве – тогда задыхавшейся в объятиях голода и смерти – он принимал активнейшее участие в формировании Ташкентского (тогда Туркменского, позднее Средне-Азиатского) Университета. Думаю, что его поразительная энергия много помогла этому начинанию – грузились целые составы с библиотеками, лабораторным оборудованием для университета, приглашались десятки, сотни сотрудников – профессоров, доцентов, ассистентов и т.д. Для получения и отправки всего этого нужно было непрерывно, настойчиво и умело просить высших представителей новой власти, доходить до самого Кремля, даже до Ленина, и, конечно, большую роль в этом играл Н.А. Димо, особо приспособленный для подобных дел.

В феврале 1920 г. был отправлен первый эшелон нового Университета из Москвы в Ташкент, в специально выделенном для этого огромном санитарном поезде юго-западного фронта; и я ехал в этом эшелоне.

До Ташкента мы добрались только через 52 дня, уж в апреле, это показывает особые трудности, в которых тогда приходилось вести подобные дела. Не было ни паровозов, ни топлива, на некоторых станциях сидели днями, в дороге ведрами наливали воду в паровозы; в Актюбинске эшелон простоял, даже две недели – не было продовольствия, меняли вещи на хлеб и т.д.

Из голодной умирающей Москвы согласились уехать в Ташкент масса научной публики. Нужно признать, что в первые 5 лет вновь сформированный Ташкентский Университет был блестящим по составу. Большинство профессоров и доцентов, приехавших в Ташкент, были по направлению правыми; левых, т.е. готовых сотрудничать с новой властью, было меньше и они имели по возможности, по возрасту и положению, меньший авторитет.

Н.А. Димо, оставшийся в Москве в качестве ректора для того, чтобы сформировать и отправить второй эшелон, в глазах правой профессуры, приехавшей в Ташкент, был мавром, который сделал свое дело и должен уйти. Они не дожидаясь его приезда, т.е. летом 1920 г. так дело и повели, стали обвинять Димо в том и другом, одновременно настойчиво проводя идею об избрании нового, постоянного Ректора из состава первого эшелона, т.е. из своей среды. Они были авторитетны, с научными именами, умели выступать на Советах, собраниях, импонировали своим почтенным видом, ученостью, солидарностью, и потому считали свое дело верным... Только протесты некоторой части молодежи против такого пронунциамента – провозглашения нового ректора при живом старом, оставшимся где-то далеко в Москве, тогда мало доступной для писем и телеграмм, заставили власть замедлить с делом избрания нового ректора. Но все же положение было очень напряженным, заседания Совета и факультетов были очень бурными. Университет внутри клокотал, как вулкан, лава которого готова вырваться наружу....

.....Н.А. Димо тяжело переживал эту историю: подобное отношение к себе со стороны им же созданного университета он, очевидно, считал чудовищной неблагодарностью. В порядке некоторой компенсации, он был назначен деканом сельскохозяйственного факультета, который он действительно поставил на прочную солидную ногу. Одновременно, он создавал свой личный институт Почвоведения и Геоботаники, который стал очень крупным научно-исследовательским учреж-

дением. Кажется в 1931 году, спустя 3 года после моего перехода из Ташкента в Ленинград, Н.А. Димо – я не знаю по какой причине – подвергся опале, был выслан из Ташкента в Тифлис, где стал заместителем директора Мелиоративного института, его же собственный институт Почвоведения и Геоботаники был раскассирован и перестал существовать.

1914 год я встретил уже в Ленинграде. Я снял комнату на Песочной улице, в семье рабочего, токаря-металлиста, Васильева и здесь впервые познакомился с бытом индустриального пролетариата столиц. Васильев был еще молодой человек, лет 30 с небольшим, имел жену и 2-х ребят. Характер он имел легкий, почти беспечный; довольно красивый, с шикарными длинными черными усами, он был большой ходок по женской части – не в серъез, а так все с шуткой и прибауткой, с порядочной долей цинизма и распущенной снисходительностью. Конечно, при этом неизменно фигурировала выпивка, веселая компания, к которой он очень подходил, ибо был весельчак и балагур, играл на гитаре и пел песни под ее аккомпанемент. Жена его, большая мещанка по духу, плотная и полная женщина телом, часто устраивала забуддыге-мужу домашние сцены ревности, небольшие скандалчики, для этого у ней были и порядочные материальные основания, помимо обиды женской ревности: выпивки и подруги, уносили у ее мужа большую часть заработка, который был не мал, около 75 рублей в месяц. Иногда она даже выходила в дни расчетов к проходной будке завода, чтобы сразу вытянуть из мужа получку, как только он появлялся у заводских ворот; и здесь у них возникали крупные сцены. В общем жизнь их была довольно бесшабашной....

...В жизни Васильева было нечто, однако, и более серьезное, что имело большое общественное значение – это его заводская жизнь, общение с товарищами; бывая иногда в их компании, обычно в пивной или каком-нибудь ресторанчике, я чувствовал ту солидарность, спаянность рабочего класса, которая позднее привела его к захвату власти...

...С.-Петербург, столица царей, мне одно- временно нравился и не нравился. Не нравил- ся он мне какой-то несвойственной тогдаш- ней русской провинции суховатостью и, не- смотря на внешнее богатство, скудновато- стью жизни – все в нем было более расчтано и более урезано, чем в провинции, я думаю в этом сказалось не русское чухонское- немецкое влияние, переполнявшее город. Даже хлеб в нем был невкусный, без нашего аромата и приятности – какой-то индустриа- лизированный, нейтральный; можно его есть, а можно и не есть, все равно вкусовых удо- вольствий от него не получишь. Дешевые обеды, доступные для меня и мне подобных как в столовой Университета, так и в частных домах – а таких частных домов, отпущавших обеды для посторонних, было множество в тогдашнем Петербурге – были очень дурны, часто из несвежих или недоброкачественных продуктов. Они мне, помню, внушали отвра- щение – в них заключался дух растленности большого города, пороки урбанизма и куль- туры больших городов. В противополож- ность ядреной, здоровой, сытной провинции, скорее не знающей куда деть избыток своих сил и достатков, молодой по духу, действи- тельно могучей – из нее ведь вышли и Менде- леев, и знаменитый математик Ляпунов и др., гениальный Шаляпин и Ленин и все наши прославленные писатели – Гоголь, Некрасов, Толстой и Тургенев, урбанистическая куль- тура, которую у нас в то время больше других городов представлял Петербург, всегда мне казалась довольно хилой и испорченной ста- рухой, с помощью немецко-французского грима неловко и неумело размалеванной под молодую нарядную даму. Я и сейчас держусь того мнения, что она плоха, что в больших городах, с их дымом и газами фабричных труб и автомобилей, с миазмами гигантских кана- лизаций, с заплыванными тротуарами вместо полян, покрытых травой и цветами, с лесом закопченных труб и столбов вместо леса из душистых сосен или могучих дубов, с грязны- ми дворцами – колодцами, которые заменяют городским детям чистые родники и побере- жья речек провинции, нельзя вырастить здо-

рового телом и умственно, сильного и нрав- ственно стойкого потомства. Действительно в Петербурге все выдающиеся деятели науки и искусства были людьми, пришедшими из провинции. Петербург был только губкой, впитывающей все лучшее, что порождала провинция, но сам не создавал ничего значи- тельного – поколения исконных петербург- цев самое большее могли лишь поддерживать культуру, не ими создаваемую, и они действи- тельно – нужно им отдать справедливость – ее поддерживали.

Петербург и его население всегда как-то особо отличались от всей прочей России именно упорядоченной окультуренностью, которая ощущалась ясно уже когда садился в Москве в Петербургский поезд.

Этот петербургский дух сохранился до по- следней войны, когда во время блокады нем- цами Ленинграда коренное население по- следнего или погибло жертвой голода или в уцелевшем остатке рассеялось по другим го- родам.

Меня, молодого человека, конечно, пора- жала и пленяла в Петербурге концентрация интеллектуальной силы, великое множество научных, общественных, и политических дея- телей, необычайный расцвет искусства, кото- рый там имелся в то время.

Здесь в то время, правда, уже доцветал, но все же еще сохранял свое обаяние несравнен- ный Шаляпин, в котором быть может, боль- ше, чем в ком-либо другом, мы можем видеть воплощение великих сил и возможностей русского народа. Подняться в столь короткий срок из малокультурной безвестности мелко- го провинциального чиновника до мировых вершин художественного понимания и ис- полнения, вложить в последнее столько души – когда нужно страстной и гневной, когда нужно – поражающе трогательной, грустной – мог только человек с великим умом и вели- ким сердцем. Шаляпин повторил путь Петра – стремительный подъем из некультурья и безвестности в мировое величие, пожалуй только русские способны на подобные взле- ты.

Петербургский университет мне в общем мало понравился, для студента он был много хуже Казанского, он был переполнен, в лабораториях и аудиториях было тесно, и профессура мало обращала внимание на молодежь, относилась к студенчеству скорее как к стаду, в котором она не успевала различать индивидуальности. Некоторые профессора и преподаватели даже позволяли себе быть грубыми со студентами, чего не было в Казани. Таким грубияном был, например, и наш декан, в общем очень заслуженный в науке, зоолог Шимкевич. В Химическом и Физическом институтах мне бросилась в глаза другая неприятная черта. Там еще была жива память о великом Менделееве, дух которого там и хотели сохранить. Но поскольку фактически этого духа, т.е. духа великого ума, его приемники не имели, то они сохранили от Менделеева лишь его грубоватое, бесцеремонное и страшно требовательное отношение к студенчеству; больше ни в чем уподобиться своему славному предшественнику не могли.

Для студентов этого было мало. Они могли сносить неприятные черты характера Менделеева ради его замечательных трудов и ценных поручений, но сносить от его приемников неприятности ничем не компенсируемые, хотя бы имеющие «менделеевский оттенок» они не имели ни желания, ни оснований. На этом примере я впервые реально познал то явление, которое носит название «эпигонства»: эпигоны сохраняют от своих великих учителей лишь какие-то внешние формы их дел, творений или характера и, часто прикрываясь тенью учителя, как кольчугой для самозащиты, страшно снижают уровень тех дел, тех творений, того духа, которые они якобы продолжают, сохраняют, или развивают.

Другой блестящей пример эпигонства я видел своими глазами в области географической. Н.М. Пржевальский был воистину великий, гениальный человек. Его путешествия, создавшие эпоху в изучении до того почти неведомых земель Центральной Азии, Тибета,

Монголии, Северного Китая, были созданием исключительного характера – воли, энергии и, главное, безграничной любви к природе, соединенных с редким умом. Книги Пржевальского – почти поэмы, таким страстным чувством, таким сильным темпераментом они проникнуты. После Пржевальского слава его дела толкала на подобные же дела десятки исследователей – сперва это были его ученики Певцов, Роборовский, Козлов и потому уже просто ученики по духу, например, В.И. Липский, написавший 3 тома «Путешествия по Горной Бухаре», Н.А. Буш «По горному Дагестану», и т.д. Уже у непосредственных учеников Пржевальского мы видим снижение, иногда значительное, и исследовательского и литературного таланта, а ученики по духу уже просто смешны: совершенно беспомощны и в исследовании, и в литературном изложении: от всего внутреннего богатства книг Пржевальского у них остались только толщина томов, перечень маршрутов и обывательский рассказ, как их встречали, угощали и провожали местные власти или жители. Природа, ее особенности, ее черты, столь остро подмечавшиеся и прекрасно, вдохновенно описанные Пржевальским, у его последних эпигонов совсем теряются в хаосе мелких, бытовых, и часто личных подробностей.

Кафедра ботаники, которая меня, естественно, привлекала, была в то время (1914-1915 гг.) занята профессором Христианом Яковлевичем Гоби⁴⁴. Это был уже глубокий старик, заслуженный профессор, которому полагалось по годам уйти в отставку, но который все же держался на кафедре благодаря каким-то связям при дворе. Рассказывали, что он будто-бы в прежние времена преподавал ботанику царю Николаю II, когда тот был еще юношей и наследником престола. По этой причине никто не смел трогать Гоби, хотя по закону он уже должен был уйти в отставку. Лекции он читал очень плохо, по каким-то старым запискам, в которых он и сам по слабости глаз, плохо разбирался. Помимо того,

⁴⁴ Гоби Христофор Яковлевич (1847–1917) – ботаник, миколог, альголог. Основатель школы исследователей низших растений.

по старческой немощи на половину лекционных часов он совсем не приходил. Ботанический институт, помещавшийся в особом небольшом и неказистом, двухэтажном, старой постройки домике во дворе, был превращен им в затхлую пропыленную, но тем не менее неприступную для русских ботаников крепость-развалину. Два русских доцента, позднее ставшие академиками, В.Л. Комаров⁴⁵, Н.А. Максимов⁴⁶, тогда средних лет, очень живые и свежие, довольно талантливые научные деятели, принуждены были читать факультативные курсы для интересующихся биологов в Физическом Институте. В «свой» ботанический институт их Гоби не пускал. В чужих же институтах проводил занятия ботанического студенческого кружка В.Л. Комаров. Это было очень интересным и нередким в России явлением, даже тогда когда Россия вела с Германией тяжелую войну. Немец – обычно даже дрянной – как специалист и человек – сидел на каком-нибудь важном и почетном месте, прикрытый как щитом дворцовыми, иногда очень отдаленными связями, ненавидел и презирал русских, делал все, что было в его силах, чтобы нанести возможно больше, ущерба русской культуре и лично русским деятелям в данной области, а русские, с позволения сказать «хозяева» в своей стране, стояли, отодвинутые подальше в тень, поставленные в наихудшие для работы условия. Случай с Гоби был особенно удивительным. До его воцарения на кафедре ту же кафедру занимал почтенный и талантливый русский профессор, Н.А. Бекетов⁴⁷, учениками которого были многие выдающиеся русские

ботаники: К.А. Тимирязев⁴⁸, И.И. Кузнецов⁴⁹, А.Н. Краснов⁵⁰, В.Л. Комаров. Бекетов был прекрасным профессором – руководителем, написал ряд хороших учебников, умело внедрял стремление к научной деятельности среди студентов, одним словом, создал эпоху в развитии русской ботаники. Он был, видимо, большой барин, помещик, русский хлебосол и прекрасной души человек.

Каким удивительным путем после него перехватил кафедру в главнейшем университете страны немец Гоби, довольно открыто враждебный всему русскому, заморозивший кафедру и ботаническую науку на десятки лет, остается для меня неясным. Очевидно это произошло с помощью многих петербургских немцев, ботаников и их неботанических покровителей в так называемых «сферах», конечно, при этом, с помощью интриг и доносов. В частности, у Бекетова был талантливейший ученик, можно сказать почти гениальный научный деятель А.Н. Краснов. Бекетов даже очень симпатизировал ему, но тем не менее ничего не мог сделать, чтобы предоставить ему кафедру в Петербурге. В конце концов, по совету Бекетова, Краснов принял кафедру общего землеведения в Харьковском Университете, а в Петербурге ее получил после смерти Бекетова бездарный Гоби. Мы, специалисты, вполне понимаем какие печальные результаты из этого последовали. Вместо того, чтобы талантливый, яркий исследователь, прекрасный педагог-профессор Краснов мог продолжить развивать ботаническую школу в Петербургском Университете, было устроено так, чтобы бекетовское дело

⁴⁵ Комаров Владимир Григорьевич (1869–1945) – ботаник, географ, президент АН СССР в 1936–1945 гг., лауреат многочисленных наград и премий, автор трудов по описанию флор, растительности, новых видов, а также по разработке теории ботаники и ботанической географии, учения о расах и рядах.

⁴⁶ Максимов Николай Александрович (1880–1952) – ботаник, академик АН СССР, лауреат Ленинской премии.

⁴⁷ Бекетов Андрей Николаевич (1825–1902) – ботаник, почетный член Петербургской академии наук, основоположник отечественной географии растений. Автор первого в России полного систематического учебника ботаники и учебника по географии растений.

⁴⁸ Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) – естествоиспытатель, физиолог растений, исследователь фотосинтеза, основоположник русской научной школы физиологов растений.

⁴⁹ Кузнецов Николай Иванович (1864–1932) – ботанико-географ, флорист, систематик, создатель полифилетической системы цветковых растений, основатель ботанического журнала «Вестник русской флоры».

⁵⁰ Краснов Андрей Николаевич (1862–1914/1915) – ботаник, почвовед, географ, палеоботаник, первый доктор географии в России, основатель Батумского ботанического сада.

создания русских ботанических кадров было оборвано и на 30 лет кафедра была выведена, по существу, из строя. Никто не сможет убедить меня, что все это произошло случайно. Это был сознательно обдуманый и настойчиво проведенный немецкий план подрыва русской культуры. Результаты его вполне очевидны. После революции Ленинградский Университет в области ботаники оказался на провинциальном уровне. Усилия В.А. Комарова ничего не могли выправить, ибо он сам не обладал ни большими качествами ученого, ни высоким характером, подбирая около себя бездарностей и угодников.....

....В те же самые годы, в связи с ботаническими работами в Туркестане, я попал в другое высшее ботаническое учреждение страны, в котором также шла борьба русского и немецкого, с большим все-таки успехом, хотя не столь ясным как в Университете, в пользу последнего. Я имею в виду Петербургский Ботанический сад – учреждение в своей специальности мирового ранга по богатству коллекций, библиотеки и по продолжительности научной деятельности, более чем столетней. Только два учреждения за границей равнялись по калибру нашему Ботаническому саду: Лондонский Кью-Гарден и берлинский Дале. Нельзя не признать, что Ботанический сад в Петербурге был создан в основном немцами. Почти все его директора, начиная с Фишера были немцами, и большая часть научных работников тоже были русские немцы. Наилучшего расцвета Сад достиг при директоре Э.А. Регеле⁵¹, швейцарском немце, переехавшем работать в Россию и ставшим директором Сада в 70-х годах. Э. Регель был действительно выдающимся и даже необыкновенным человеком по энергии и трудоспособности. Он напечатал более 3000 работ: помимо всяческих специальных, он написал также

Русскую Дендрологию, Русскую Помологию, Руководство к культуре комнатных растений и т.д. Это был настоящий культуртрегер. Он был не только первоклассным систематиком, но и ученым практиком садоводом: именно он создавал чудесные живые коллекции растений в оранжереях Ботанического сада, которые при нем были не только музеями для осмотра экскурсиями, а настоящей живой лабораторией для огромной, им лично проводимой, ботаникосистематической и садоводственной работы. После его смерти все это пошло под гору, превратилось в эпигонское, бездарное, никому не нужное, но дорого стоящее обезьянничание!

После смерти Э.А. Регеля немцы-ботаники в саду начали хиреть. Еще сохранялись некоторые довольно бездарные особи их, вроде Винклера и даже в 20-м столетии приглашались совершенно бесполезные Михельсоны, Минквицы и Кноринги, но качественно они становились все хуже, а количественно начали тем более уступать русским.

На рубеже двух столетий в Саду выросли три крупные фигуры не немецких ботаников: В.А. Комаров, В.И. Липский⁵², Б.А. Федченко⁵³. Последний самый молодой из них и самый не талантливый как ученый, оказался, однако, самым ловким практически. Ему был тем более легок путь к кафедре, что его мать, урожденная Армфельд⁵⁴, была немкой и имела крепкие связи в немецкой среде. Она и сама работала в Саду, и сыну своему там обеспечила руководящее положение: он стал заведующим гербарием, а также руководителем ботанических работ знаменитых экспедиций Переселенческого Управления. Для последней роли он совсем не годился по своей малой ботанической квалификации, и благодаря ему, эти многолетние экспедиции, обладавшие огромными, дали несравненно меньше

⁵¹ Регель Эдуард Людвигович (1815–1892) – ботаник, член-корр. Петербургской академии наук, директор Императорского ботанического сада в Петербурге.

⁵² Липский Владимир Ипполитович (1863–1937) – ботаник, в 1922–1928 гг. президент Украинской национальной академии наук, член-корр. АН СССР, директор Одесского ботанического сада.

⁵³ Федченко Борис Алексеевич (1872–1947) – ботаник, гляциолог, Заслуженный деятель науки РСФСР. Редактор ряда научных периодических изданий и коллективных монографий.

⁵⁴ Федченко Ольга Александровна (1845–1921) – ботаник, чл.-корр. Петербургской академии наук.

того, что они могли бы дать при хорошем руководстве. Для практических целей землеустройства они почти ничего не давали, а для научного познания растительности давали нечто только случайно, помимо даже воли или сознания руководителя, в тех случаях, когда исполнителем работ, начальником экспедиции, оказывался настоящий ученый геоботаник, например, Б.А. Келлер, И.М. Крашенинников⁵⁵. Может показаться странным, что несмотря на то, что имелись первоклассные русские ученые геоботаники, которые действительно по настоящему могли бы руководить большим государственным делом Переселенческих экспедиций (можно назвать такие имена, как А.Н. Краснов, Н.И. Кузнецов, А.Я. Гордягин), правительство ни одному из них не нашло возможным поручить столь ответственное дело, а нашло, как будто специально такого ища, самого неподходящего, некавалифицированного руководителя...

... Сам Б.А. Федченко вряд ли мог иметь какое-либо отношение к злему умыслу: он, подобно большинству специалистов, обладал преувеличенным представлением о своих способностях и своих силах: он, наверное, искренне, считал себя много более пригодным для роли руководителя геоботанических работ, чем Краснова, Кузнецова, или Гордягина. Меня вообще всегда интересовало общественно-политическое мировоззрение этого полурусского, полунемецкого ученого мужа. Какое-то чувство русского патриотизма по отцу у него, несомненно было, но с другой стороны и тяга к немцам у него была очевидна: это именно он будучи начальником, протаскивал в экспедиции и в Сады, абсолютно непригодных и неподготовленных людей немецкого происхождения, вроде Михельсона, Минквиц, Энден и т.д. Конечно, отчасти он это делал по настояниям, советам, рекомендациям своей матери, которой он был многим обязан, но все же без его личной склонности в эту сторону вряд ли это столь неудачное и запоздалое онемечивание сада могло получить такой широкий размах.

Б.А. Федченко был сам большим дипломатом; он не раздражался, был вежлив, никогда не говорил лишних слов, но когда нужно мог переменить фронт в любую сторону, сказать любезность самому нелюбезному для него человеку и сделать любой коварный удар своему недругу, сохраняя личину благосклонности. Словом, в плане карьеры он имел и сам подходящий характер, и нужное воспитание. Меня всегда в нем, однако, трогала одна черта его характера, ради которой ему многое можно было простить: безусловно глубокая и искренняя привязанность к своей науке, к научной деятельности, тем более при условии, что он мало к ней был способен. Но его трудолюбие и энтузиазм, если можно назвать энтузиазмом чувство такого тяжелого на первые подъемы, флегматического человека, не покидали его до последних часов его жизни.

Заботился он о науке – в пределах своего понимания – трогательно и трудился для нее неустанно. Благодаря его усилиям было построено прекрасное здание гербария и, благодаря его стараниям Переселенческие экспедиции, хотя в данном случае и используемые не по прямому назначению, собрали прекраснейшие и обильнейшие материалы для этого гербария.

Внешне Б.А. Федченко был огромного роста, очень массивный, медлительный в движениях человек, прямо богатырь, с большой головой в которой, казалось, должна быть ума палата, хотя этой палаты ума там фактически не оказывалось. Несмотря на свою неуклюжесть, флегматичность и некрасивое лицо он был до конца своих дней большим любителем женщин, большим ловеласом. Но эта черта очевидно, как-то вообще коррелировала очень тесно со склонностью ученого к ботанике, очевидное большее, чем у обычных людей, стремление к красоте определяет стремление ботаника к цветам и женщинам.

Непримиримым и ненавистным недругом для Б.А. Федченко в саду был другой крупный

⁵⁵ Крашенинников Ишполит Михайлович (1884–1947) – ботаник, ботанико-географ, Заслуженный деятель науки РСФСР.

ботаник В.И. Липский, он был оригинальным человеком, своеобразной личностью...

...Был добросовестен, серьезен в работе; больше того, он обладал исключительным трудолюбием, трудоспособностью. Достаточно посмотреть три тома его «Путешествий по горной Бухаре», 3 вводных тома «Флоры Средней Азии» или «Историю С.Петербургского Ботанического Сада», чтобы вполне оценить, с каким напряжением он мог работать. Особенно его привлекало исследование всяких архивных материалов, касающихся истории ботанических исследований в пределах СССР и биографии отечественных ботаников. Благодаря его трудолюбию, в частности, появились в печати документальные материалы о жизни замечательного натуралиста, ссыльного артиллерийского офицера Г.С. Карелина⁵⁶.

В.И. Липский много работал как флорист, систематик, по высшим растениям, сперва на Кавказе, потом особенно долго и настойчиво в Средней Азии. Он всегда стремился к фундаментальным трудам.

«Флора Кавказа» – по существу довольно беглый список флоры Кавказа и «Флора Средней Азии», из которой появились только три первых тома, касающихся истории исследования, а также 3 тома материалов к «Флоре Средней Азии» свидетельствует об этом его стремлении.

Как исследователь, по таланту, он, конечно, стоял много выше Б.А. Федченко, последний поэтому и не любил его: трудно одному специалисту выносить превосходство другого. Б.А. Федченко сделал много дурного в отношении Липского и, можно сказать, испортил последнему пятнадцать последних лет его жизни, устроив так, что Липский не смог – после 2-х лет отсутствия – восстановить себя на работе в Ботаническом Саду. Федченко очень ловко провел в этом случае интригу, к которой он всегда был склонен. Липский уе-

хал на Украину, откуда он был родом, и там почти в полной бездеятельности провел остаток своей жизни. Это было очень дурно, непорядочно со стороны Федченко. Нельзя было столь мстительно лишать крупнейшего специалиста возможности продолжать свою полезную деятельность. Но в Ботаническом Саду такие методы действия всегда процветали...

В.И. Липский вырос на Украине и как ботаник-систематик оформился в киевское школе И.Ф. Шмальгаузена⁵⁷, автора знаменитой «Флоры Средней и Южной России» профессора Киевского Университета. Идеологически это была очень слабая школа, хотя сам Шмальгаузен был одновременно и систематик, и палеоботаник. Единственным его крупным достоинством было серьезное трудолюбие, отвращение к научной халтуре, и это качество Шмальгаузен сумел, кажется передать обоим своим крупным ученикам – Липскому и Пачоскому⁵⁸. Но он ничего не мог им дать в смысле систематических идей, у него самого их не было. Также и В.И. Липский, при всех своих заслугах, поражал именно каким-то полным пренебрежением к идейной стороне науки. Казалось, что он больше ничего не хочет, как описать возможно больше растений и составить «Флору», например, Средней Азии или Кавказа. У него не поднималась в голове вопросы, каковы цели Флористической науки, каковы цели науки вообще; какие методы должны быть применены в отдельных случаях. В то время как его современники, профессора Университетов, Краснов, Кузнецов, Комаров, Коржинский, каждый более или менее ясно и соответственно своему таланту останавливался на этих вопросах и заимствовал из Европы те или иные идеи, относящиеся к их данному кругу проблем. В.И. Липский не только не стремился к постановке и решению, но даже считал

⁵⁶ Карелин Григорий Сильич (1801–1972) – естествоиспытатель и путешественник. Исследователь Западного Казахстана, восточной части Каспийского моря, Семиречья, верхнего течения Иртыша и его притоков.

⁵⁷ Шмальгаузен Иван Федорович (1849–1894) – ботаник, чл.-корр. Петербургской академии наук.

⁵⁸ Пачоский Иосиф Конрадович (1864–1842) – ботаник, энтомолог, член Польской академии наук. Установил понятия экстразональной и азональной растительности. Впервые предложил термин «фитоценоз».

такое занятие излишним. Поэтому он до несправедливости резко критиковал, например, работы Краснова, которых он просто не понял; Комарова он ценил только как составителя флор, и т.д. Меня, я помню, просто поражала такая ограниченность научного кругозора. Казанские ботаники, особенно А.Я. Гордягин мне казались утонченными мыслителями по сравнению с такой примитивностью. Позднее я понял, что настоящая наука может иметь место в университетах – там, где науку преподают. Там Профессор или доцент, принужденный читать лекции перед аудиторией, неизбежно, почти автоматически, понуждается мыслить, ставить вопросы, искать решение их, логически их излагать. Ему постоянно приходится смотреть литературу. Уча других, он все время учится сам. Окруженный в университете коллегами различных специальностей, так или иначе общаясь с ними, он расширяет свои горизонты, привыкает интересоваться многим, а это обогащает его специальные труды.

Иное мы видим в специализированных научно-исследовательских институтах, каким был и Ботанический сад. Их специалисты, оторванные от преподавания в ВУЗах, очень скоро забывают все теоретические основы их науки, погружаются в технику науки, снимают качество своих работ. В.И. Липский никогда не был связан с преподаванием в Университете, всегда был одиночкой, индивидуалистом – исследователем. Быть может, в такой изоляции от других, если она сознательна, есть своя мудрость, в этой изоляции можно больше работать индивидуально, продуктивнее, как бы только для себя, использовать свое время для научной работы, но как всегда, эгоизм платит за себя, в данном случае сужением научных горизонтов работника. С такими суженными горизонтами был и В.И. Липский. У него, несомненно, был природный талант, способность видеть и чувствовать явления природы, по своему их обдумывать; достаточно прочесть его очерки по Тянь-Шаню, чтобы почувствовать это, но поразительно,

каким образом он остался совершенно чужд более широким ботанико-географическим и систематическим идеям своих современников, коллег с которыми он лично соприкасался. До некоторой степени тут играло роль преувеличенное мнение о самом себе – чувство, столь свойственное специалистам! А Липский, кроме того чувствовал себя маленьким садовником, важным лицом в ботаническом мире, имеющим право строго судить других. Он и судил часто очень несправедливо, например Краснова. Особенно же он не любил немцев, в первую очередь немку О.А. Федченко-Армфельд, что и было *casus belli*⁵⁹ между ним и Б.А. Федченко.

*Semper mulieres tenerrima belli causa fuit!*⁶⁰

Свою не любовь к немцам; в общем вполне обоснованную, Липский доводил по экспансивности своего характера до несправедливости. Так, при малейшей возможности он критиковал Э. Регеля за допущение буд-то бы тем ошибки в обработке Туркестанской флоры. По большей части, однако, Липский сам выдумывал эти ошибки: Регель их редко делал, несмотря на колоссальную по объему работу, которую он выполнял; мы всегда с удивлением смотрели на поразительно ясный и четкий глаз Э. Регеля как систематика. Ему много помогало, то что он был не только гербарный работник, но и культиватор: массу описанных им растений он видел живыми, выращенными в оранжереях или на грядках Ботанического сада. Липский, упрекая в ошибках Регеля и Краснова, делал сам ошибки чаще чем они. Он не дошел до той истины которая очевидна для нас: систематик постоянно делает ошибки; выправляя одни он делает другие, что зависит от множественности его объектов и ничтожности деталей, которыми он принужден пользоваться при различении видов и родов; никакая самая ясная память не в состоянии их держать в себе без того, чтобы они не стирались и не смешивались. Про систематика, поэтому, можно сказать, что не ошибается тот, кто ничего не делает! Систематик постоянно ошибается, и оценка его работы может

⁵⁹ Дословно: «случай (для) войны»

⁶⁰ Явная ошибка в слове «mulieres». Вероятный вариант перевода – «всегда причинами войны являются женщины».

считаться хорошей, если процент ошибок им допущенных не превышает 40 или 30. Липский несмотря на то, что всю жизнь занимался систематикой, не дошел до понимания этой истины: ему мешало его самомнение; он считал, что он не ошибается, а между тем, мы его преемники, хорошо знаем, какое множество ошибок он делал сам в систематической работе.

В.И. Липский был очень живой, подвижный, худощавый и очень деятельный человек. В молодости, судя по портретам, он был очень красив, в пожилом возрасте имел приятное лицо. К нам, молодежи, он относился с искренним сочувствием и очень охотно оказывал содействие в вопросах систематики...

О третьем ботанике сада, достигшем известности, о В.А. Комарове мы скажем после. Став президентом Академии Наук, он превратился в знамя Ботанического сада, в его божка. Если Б.А. Федченко можно назвать Маратом ботаники, Липского – Дантоном, то Комаров больше всего соответствовал Робеспьеру Революции: не без способностей, с исключительным трудолюбием, фанатичностью Робеспьера, он сочетал его самовлюбленность и его житейскую ловкость, в смысле умения оседлать волну, оказаться на ее гребне, в то время как другие были поглощены ею.

Спокойно я мог заниматься в Университете и в Саду только один год. Уже в следующем, 1915 году положение в Ленинграде очень ухудшилось, начиная чувствовать недостаток продуктов, отопления; нормальная жизнь кончилась. Страна вступала в положение великих потрясений. Лето 1915 года я еще спокойно путешествовал в «Горной Бухаре», как тогда ее называли: еще, как прежде, там была патриархальная жизнь, полнейшее спокойствие, но уже зима принесла первые военные лишения.

Внутренняя атмосфера накалялась. Где-то далеко, в августевших лесах, под Варшавой, Львовом шли ожесточенные бои, но мы в тылу их слабо воспринимали, мы жили еще какой-то отвлеченной жизнью и плохо понима-

ли, не чувствовали, что подходим к великой перемене, к роковой границе своего общественного и личного бытия...

Я жил мало реальной жизнью, я совершенно не предвидел событий, был слеп и глух к своему внешнему, что находилось за пределами моей узкой личной жизни, а она сосредотачивалась на глубоких чувствах, порожденных природой Средней Азии и ее несравненной флорой. Я больше ничего не хотел знать: в этом было что-то упоительное всепоглощающее. Я грезил пустынями, горами, жарким солнцем, солончаками и снежными вершинами Гиссара и Калифа. Мне была безразлична война, я не обращал на нее внимание. Я почти покинул занятия в Университете, проводя время в Ботаническом Саду. Я писал свои первые ботанические статьи, описывая новые виды растений...

...С Кугитангом⁶¹ у меня связаны прекраснейшие воспоминания молодости. Даже теперь, почти через 40 лет после первых его посещений, я помню несравненное ощущение душевного восторга, наслаждения чудесами экзотической горной природы, которые меня тогда переполняли. Глубокие, как ножом или пилой врезанные каньоны ущелья по северному склону этого небольшого узкого, невысокого хребта. Змеистыми линиями, щелями, они прочертили его круто наклоненные к северу толщи серых известняков. Южная сторона имеет совсем другой характер. Известняки обрываются туда грандиозными обрывами, уступом далеко внизу под которым начинаются поперечные разработанные долины Кемпыр-Тюбе и Кизия-Алмы. Асимметрия хребта, различие между его двумя склонами, поразительно. На северном склоне, особенно в ущелье в то время росли прекрасные парковые арчевые леса, на южной стороне было больше лиственных кустарников и деревьев, фиштакки. Гребень над обрывом был гол, это уже субальпийский пояс с подушками колючих акантолимонов, трагантов, среди них и мной открытый колючеподушковый качим *Gypsophila popovii* G. Preobr.

⁶¹ Кугитангтау – горный хребет в юго-западной части Памиро-Алая.

Как-то в один из подъемов на этот гребень я ночевал там у последних арчей (чтобы были дрова для костра). Был заход солнца, когда мы сидели у огня и пили чай. Далеко, далеко, за линией бесконечных пестроцветных холмов предгорий, растекающихся западнее Кугитанга, в насквозь пыльном золотистом от пронзающих его солнечных лучей и лиловатом горизонте медленно двигался далеко ниже нас огромный красный овал заходящего солнца. Арчи около нас чернели в угасающем освещении неба, голый острый гребень хребта становился сине-серым, холодным и разреженный воздух (здесь 3000 м н.у.м.) приобрел холодную прозрачность. Мои спутники – узбеки нарубили арчевых веток и поставили их прямо на голый, серый и гладкий (камень)-плиту наклоненного пласта известняка. Холодный и жесткий, но прекрасный ночлег! Во сне вздрагиваешь от усиливающегося холода; открываешь глаза – внизу – едва различимые, таинственно чернеют молчаливые леса, на гребне белеют пятна снега, постукивают копытами по камню озябшие ослики, пережевывают с хрустом какую-то сухую траву. Далеко от всего мира и высоко над ним! Нигде не видно следа человеческой деятельности: ни огня, ни крика, ни лая собаки. Одиночество и пустыня до самого горизонта. И только два человека, узбека, закрывшихся с головой под своими халатами, спят около тебя. Почти как в космическом пространстве между землей и луной.

Много раз потом, позднее, я бывал в таких же изумительных местах, как Кугитанг, среди природы, покоряющей своим очарованием: и в благословенных теплых долинах западного Копет-Дага, одну из которых, Айдере, мои сотрудники невольно и искренне называли «земным раем», и в величественно прекрасных, заросших стройными шренковыми елями ущельях Заилийского Алатау. И вот, сидя высоко в горах, глядя на далекие безграничные ландшафты, расстилающиеся внизу под горами, думал я о том, как странна, фантастична жизнь человека. Вот я, мальчишка из мещанской среды маленького убогого волжского городка, кое-как получивший образование там, на неприветливой и скудной родине, теперь исследую столь далекие и прекрасные страны, брожу в величественных горах где-то у преддверия таинственных Гималаев, наслаждаюсь такой природой, о которой не мог раньше даже мечтать, вижу такую красоту и величие, каких не мог себе раньше и представить. Я знаю, что ботанически я открыл Среднюю Азию, и первый ее понял так, как она того заслуживает, и никто не может оппорить этой моей научной заслуги. Почему мне именно это удалось, что не удавалось ученым академиком, вроде Коржинского, таланты которого были столь велики. Комарову или Липскому, которые тоже всю жизнь занимались Средней Азией и ценили ее так же, как я...

VII – 1945 г.

Отрывок из письма неизвестному адресату

...в своей семье я нашел счастье, но злые люди разрушили мое счастье, отняли у меня семью и друзей и сделали из меня бродягу.

Ну что ж Бешид, из Балха сказал когда-то: «Если б горе подобно огню дало дым – вечно черным в дыму был бы мир».

Горячий ветер пустыни разгоняет дым горя. Миражи делают мир непохожим на себя и в колеблющемся зареве миража разве не видел я как через пустыню Балха вел свое войско Искандер Зюлькаран однорогий и его золотой шлем с рогом вперед блестел в пыли пустыни, а лицо под шлемом было прекрасно мужественно и вдохновенно! Он шел к берегам Оксуса и Ганга и его воины одевали на головы венки из плюща и сражались в горных ущельях, в песках пустыни и под стенами седой Мараканды.

И вот дым снова застилает мне взгляд на мир. Я далеко на западе, на краю моей страны. Сумерки в сердце, странна и неприветлива для меня Европа. Номо сисониа алба⁶² чужое мне племя. Я пришел сюда из страны сказки, где верят в рай как в реальность, а здесь для европейца рай только отвлеченная схема, последнее звено графика, который начинается с рождения человека. Здесь нет сказки ни в жизни, ни в книгах. Есть только схемы. Здесь пасмурно небо, темны далекие горизонты. Солнце как-то печально умирает в тучах, быть может за Карпатами, но я их не знаю, не вижу, они далеко.

Помню с какой тоской я смотрел из глубины горячей Такла-Макан, как погружалось на западе солнце где-то бесконечно далеко в моей стране, но... там солнце было блестящим красным огромным диском и пряталось за острые грани небесных гор, а я – я шел дальше на восток в пустыню, которая бесконечна!

И вот снова дым застилает мне мир.

Помню обрыв над морем Севера. Гудит шторм и кажется, что даже гранитный цоколь под ногами дрожит от ударов волн. Они бьют в гранитные стены и взлетают тучами пены и водяной пыли, черные кресты на краю обрыва, мокрые и печальные, поднимаются в тумане. Это память о погибших в море. Там на севере не говорят «он погиб – он до сих пор еще плавает в море». В серой дали, среди бушующего прибоя лежит на боку пробитый скалою корабль. Его мачта и реи тоже похожи на кресты. А где его экипаж? Он еще плавает в море...

⁶²Вероятно, употреблено в значении: человек – белая ворона.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

О выдающемся ботанике Михаиле Григорьевиче Попове я узнал ещё в студенческие годы от Евгения Николаевича Кондратюка, который, возглавив строившийся тогда Донецкий ботанический сад АН УССР, по совместительству в Донецком госуниверситете читал нам, старшекурсникам, спецкурс по филологии растений. Став аспирантом Евгения Николаевича и работая над диссертацией по флоре Донбасса, мне, конечно же, были интересны труды М.Г. Попова. Однако в Донецке мне не удалось найти его классическую книгу – «Основы флорогенетики», изданную в 1963 году. И только в мае 1978 года, когда меня заведующая отделом цветоводства Валентина Васильевна Баканова взяла в поездку по Молдавии для сбора ранневесенних эфемероидов и поселила в Кишинёве на квартиру своего научного руководителя Виктора Никаноровича Кононова, любезно разрешившего пользоваться его личной библиотекой, я с радостью обнаружил эту замечательную книгу. Ночами, после дневных походов я читал и «открывал» для себя неповторимый научно-писательский стиль М.Г. Попова...

Поэтому, когда после ухода из жизни Евгения Николаевича Кондратюка в 1992 году в его кабинете я обнаружил старенькую папку с напечатанной на пишущей машинке под копирку рукописью автобиографии М.Г. Попова, я не мог не проявить к ней интереса. Мне разрешили этот материал забрать... Многие годы эта папка пролежала в ящике письменного стола. Конечно я интересовался у коллег, откуда и почему у Е.Н. Кондратюка оказалась эта рукопись, но никаких сведений никто не поведал.

Дело в том, что ни первого печатного экземпляра, ни рукописного экземпляра так найти и не удалось, что было бы абсолютным свидетельством достоверности имеющегося материала. Да и сама рукопись, похоже, осталась не законченной или не допечатанной.

Зная, что прекрасный учёный и замечательный человек – Дарья Никитична Доброчаева дружила с Евгением Николаевичем и непосредственно занималась подготовкой к

изданию трудов М.Г. Попова, можно предположить, что именно она просила Е.Н. Кондратюка поучаствовать в этой работе и предоставила ему для редактирования этот материал, так и оставшийся не опубликованным. Учитывая это, я передал рукопись Мирославу Васильевичу Шеверу – ученику Д.Н. Доброчаевой, работающему в Институте ботаники им. М.Г. Холодного НАН Украины и занимающемуся вопросами истории ботаники. Рукопись и сейчас хранится у него. Однако, ему также не удалось ничего нового сообщить мне.

Участвуя в конференции в Тольятти в 2015 году, я, между прочим, сообщил Сергею Владимировичу Саксонову о существовании рукописи, которая начинается словами: «Я родился на берегу Волги, в г. Вольске Саратовской губернии...». Конечно, это вызвало интерес. И вот, наконец, было принято решение о необходимости опубликования воспоминаний волжанина М.Г. Попова. По моей просьбе М.В. Шевера прислал просканированный материал для подготовки публикации.

Возможно, появление этого труда в открытой печати прояснит историю автобиографии М.Г. Попова. Может кому-то из читателей известно больше, чем мне? Ведь интерес к творчеству и жизни этого талантливого человека у новых поколений ботаников, думаю, никогда не иссякнет.

*Д.б.н., проф. В. М. Остапко
Донецкий ботанический сад*

В 2018 году выдающемуся ботанику, систематику и флорогенетику Михаилу Григорьевичу Попову исполнится 125 лет со дня рождения. Это событие не должно пройти незамеченным среди ботаников. Михаил Григорьевич – удивительнейший человек, проживший короткую, но выразительную жизнь. За 62 года, отпущенных ему судьбой, он смог сделать чрезвычайной много для развития таких областей ботанической науки, как ботаническая география и флороведение, систематика растений и развитие эволюционных идей, геоботаника и ресурсоведение. В науч-

ных статьях, переписке и публикуемой автобиографии, проявляется главная черта его творчества – открытость, пронизательность и прозорливость.

Обладая критическим складом ума, огромнейшими знаниями и потрясающей работоспособностью, порядочностью и честностью, для современников Михаил Григорьевич, по-видимому, был «не очень удобным человеком». Поэтому можно предположить, что странствия М.Г. Попова по Советскому Союзу от Средней Азии до Западной Сибири, от Карпат до Сахалина, связаны не только со страстью «бродяжничества».

В жизни Михаила Григорьевича еще много неизвестных страниц и его автобиография только разжигает страсть к их изучению. Ниже приведу далеко неполную хронику жизни М.Г. Попова, которая, однако, поможет читателю сориентироваться в последовательности событий. Часть материалов приводится по источникам: *Попов М.Г.* 10 лет работы в Средней Азии // Изв. Ин-та почвоведения и геоботаники Среднеаз. ун-та. Вып. 1. С. 27-37; *Лишиц С.Ю.* Светлой памяти М.Г. Попова // Ботанический журнал. 1956. Т. 41, № 5. С. 736-769.

1893, апрель, 18 – в г. Вольске Саратовской губернии родился М.Г. Попов.

1901 – начало учебы в Вольском реальном училище.

1910 – окончание Вольского реального училища.

1911, лето – ботанические экскурсии в окрестностях Саратова и Семиглавого Мара.

1911, осень – начало учебы в Казанском университете.

1912 – начало экспедиционной деятельности – исследования северной части Пензенской губернии под руководством И.И. Спрыгина.

1913, апрель – май – экспедиция в пустыни северной Хивы и на правый берег Амударьи.

1913, лето – исследования в Черниговской губернии.

1913, август – поездка на солончаки и на солевые озера близ нижней Бухары

1913 – перевод в Петербургский университет.

1914, апрель – экспедиция в горы Моголтау и предгорья Туркестанского хребта.

1914, лето – экспедиция в западной части горной Бухары.

1915, апрель-июнь – подробные исследования района западной горной Бухары и Гиссарского хребта.

1916, апрель-май – продолжение исследований 1915 г., но по более расширенному маршруту.

1917 – окончание учебы в Петербургском университете.

1917 – ассистент у проф. Д.Э. Янишевского на кафедре ботаники Саратовского университета.

1917–1919 – исследования в Саратовской и Пермской губерниях.

1920 – переезд в Ташкент и начало работы в Среднеазиатском государственном университете.

1920, весна – исследования Ташкентского района.

1920, лето – исследования Исфаринского района Ферганы.

1920, август – исследования в верховьях Чирчика.

1921, весна – исследования Ташкентского района.

1921, июнь – большой маршрут вдоль Среднеазиатской железной дороги от Ташкента до Ашхабада.

1921, август–сентябрь – совместные с Р.И. Аболиным исследования по маршруту от Ташкента до Джамбула.

1922, апрель–май – исследования Ташкентского района.

1922, май, 10 – доклад на заседании Туркестанских научных общества «Экологические типы растительности пустынь Южного Туркестана».

1922, июнь–июль – исследования Джувалинского плато, Южного Каратау, Таласского Алатау.

1923, апрель–май – исследования Ташкентского района и совместная с А.И. Вве-

денским поездка в северную часть Голодной степи и Фергану.

1923, июнь – совместная с А.И. Введенским поездка по маршруту Ташкент – Моголтау – Голодная степь.

1924, апрель – исследования Ташкентского района.

1924, май – совместная с А.И. Введенским поездка в Моголтау.

1924, июнь–август – совместная с Е.А. Мокеевой поездка по маршруту Чимкент – Средний Каратау, Чимкент, Аулие-Ата и по Александровскому хребту до Аксу.

1924, сентябрь – поездка по Моголтау.

1925 – опубликован автобиографический очерк «10 лет работы в Средней Азии» (Изв. Ин-та почвоведения и геоботаники Среднеаз. ун-та. Вып. 1).

1925, май – исследования бассейна нижнего Заравшана от Самарканда до Каттакургана с прилегающими горами.

1925, август–сентябрь – экскурсия на Заамин, нижний Ангрэн, в долину Джебоглы.

1927, октябрь – по приглашению академика Н.И. Вавилова занимает должность учебного специалиста и заведующего Отделом растениеводства во Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых культур (Ленинград). Начало ленинградского периода жизни, который продлился до 1933 г.

1929 – совместная с Н.И. Вавиловым экспедиция в Джунгарию и Кашгарию. Именно после этой экспедиции М.Г. Попов пришел к выводу о принадлежности пустынной территории Центральной Азии к области Древнего Средиземья.

1932 – исследования в Ленинградской области.

1933, март, 27 – арестован по обвинению в антисоветской деятельности.

1933, апрель, 21 – осужден тройкой ОГПУ [внесудебный орган уголовного преследования, действовавший в СССР в 1937-1938 гг. – прим. ред.] и выслан в Казахстан на 3 года.

1933, май – 1938, июнь – переезд в Алматы для заведования Ботаническим сектором Казахского филиала АН СССР.

1933 – исследования в окрестностях Алматы.

1934, октябрь – 1938, ноябрь – заведующий кафедрой систематики высших растений Алма-Атинского университета.

1934-1938 – исследования в Казахстане (Зайликий Алатау, Прибалхашье).

1939 – переезд на Кавказ, где работает заместителем директора Батумского ботанического сада.

1939-1940 – исследования Аджарии.

1940 – заведующий кафедрой высших растений Узбекского университета в Самарканде, одновременно сотрудничает с Сельскохозяйственным институтом и Институтом каракулеводства.

1941-1944 – исследования в Узбекистане (окрестности Самарканда, верхний и средний Зеравшан).

1944, июнь – 1945, июль – заместитель директора по научной работе Ботанического сада Академии наук Украинской ССР.

1944, октябрь – заведующий кафедрой систематики высших растений Киевского университета.

1945 – исследования в окрестностях Львова.

1945, 12 февраля – избран членом-корреспондентом Академии наук Украинской ССР.

1945, июль – 1948, январь – заведующий отделом географии высших растений Института ботаники АН УССР во Львове и заведующий кафедрой высших растений Львовского университета.

1946–1947 – исследования в Карпатах.

1948, январь – 1950, октябрь – руководитель Почвенно-ботанического сектора Сахалинского филиала АН СССР.

1948–1950 – исследования на Сахалине.

1950 – заведующий лабораторией флоры и геоботаники Отдела биологии Восточносибирского филиала АН СССР.

1951–1955 – исследования в Иркутской и Читинской областях.

1953, декабрь, 9 – выступление по докладу И.В. Арембовского «Методология, этапы и перспективы эволюционной теории».

1955 – исследования в Крыму.

1955, 18 декабря – кончина М.Г. Попова. Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

1956 – С.Ю. Липшиц в Ботаническом журнале публикует статью о М.Г. Попове (Т. 41, № 5).

1958 – Е.П. Коровин публикует статью «Творческий путь выдающегося исследователя Средней Азии Михаила Григорьевича Попова» (Тр. Среднеаз. гос. ун-та. Ботаника. Вып. 136, кн. 32).

1960 – за работу «Флора Средней Сибири» (том 1 [1957] и том 2 [1959]) присуждена Премия им. В.Л. Комарова.

1983 – в Киеве опубликованы два тома избранных сочинений М.Г. Попова «Филогения. Флорогенетика. Флорогеография. Систематика», часть материалов публикуется впервые.

1993, апрель, 20 – на заседании секции флоры и растительности Российского ботанического общества, посвященного 100-летию М.Г. Попова, Р.В. Камелин выступает с докладом «Судьба идей Михаила Григорьевича Попова».

1994 – Р.В. Камелин опубликовал в Ботаническом журнале статью «Судьба идей Михаила Григорьевича Попова» (Т. 79, № 8).

Не понятна судьба автобиографии М.Г. Попова, впервые приводимой на страницах журнала «Фиторазнообразие Восточной Европы», о чем написал В.М. Остапко в послесловии к ней. Когда она была написана и почему так долго хранилась в ящике стола? Несомненно, рукопись подготовлена лично Михаилом Григорьевичем, на это указывает и стиль изложения, и цитаты из рукописи, приведенные в памятной статье Е.П. Коровина в 1958 г.

Творческое наследие М.Г. Попова огромно и, к сожалению, не все опубликовано. Благодаря дочери С.М. Поповой, дочери Михаила Григорьевича, в Архиве Академии наук сформирован фонд (№ 1080), содержащий многочисленные документы, сгруппированные в 352 дела за 1900-1955 г.

*Д.б.н., проф. С.В. Саксонов
Институт экологии Волжского бассейна РАН*

**M.G. POPOV'S AUTOBIOGRAPHY,
BOTANIST, DOCTOR OF BIOLOGY SCIENCES, PROFESSOR
AND CORRESPONDING MEMBER OF UKRAINIAN ACADEMY OF SCIENCES**